

СОДЕРЖАНИЕ

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Алтарь духовности. Старик и озеро 3
ЛЕРМОНТОВСКИЙ ВЕНОК

Екатерина Полумискова

Стихотворения..... 15

Николай Маркелов

«Все картины военной жизни,
которых я был свидетелем» 23

ПОЭЗИЯ

Владимир Кудинов

Стихотворения 141

Валентина Дмитриченко

Стихотворения..... 151

Сергей Смайлиев

Стихотворения..... 157

Оксана Крис

Стихотворения..... 161

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Александр Фокин

Духовное завещание классиков165

НЕИЗВЕСТНАЯ КЛАССИКА

Илья Сургучев

Посвящение. Повесть..... 183

ПРОЗА

Иван Аксенов

И каждому воздастся... Рассказ..... 245

Сергей Скрипаль

Шнурок. Рассказ..... 261

Вадим Чернов

Гром победы, раздавайся... Рассказ 279

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов,

Максим Нечитайлов

Ставрополь: польский взгляд
из XIX века 283

Роман Нутрихин

Кавказское вдохновение
Ольги Форш.....301

Сведения об авторах 317

Главный редактор альманаха
«Литературное Ставрополье»
В. БУТЕНКО



*Литературное
Ставрополье
№ 1 (2014)*



© Правительство
Ставропольского края

ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
УДК 821.161.(470.630)-8
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, В. Звягинцев,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова,**

**Л 64 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь. 2014 г. № 1.**

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел.: (8652) 26-31-50
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: А. Ю. Шаталов
Дизайн, верстка: Д. В. Пушкарский

Сдано в набор 04.08.2014. Подписано в печать 08.08.2014.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ № 1042. Тираж 979 экз.
ООО «Полиграфпром», г. Минеральные Воды,
ул. Фрунзе, 33, тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN 978-5-905726-14-9

Алтарь духовности

Текущий Год культуры отмечен многими замечательными датами. И, несомненно, одним из самых значимых и ярких событий предстает 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Имя поэта навеки связано творческими узами со Ставрополем, где он не только служил, но и создавал свои бессмертные произведения.

Этот номер альманаха открывается рубрикой «Лермонтовский венок». Мы не просто отдаем дань любви и памяти Михаила Юрьевича, но знакомим читателей с новыми фактами его жизни и творчества, которые помогут всем нам дополнить образ гения и выдающегося гражданина России.

Своеобразной переключкой двух классиков отечественной словесности является и публикация в альманахе (впервые в мировой литературе!) повести «Посвящение» нашего земляка, удивительного мастера русского языка Ильи Дмитриевича Сургучева. Восстановленное по черновикам и газетным отрывкам, это произведение посвящено Тургеневу, его дружбе с Флобером и Золя... Впрочем, не станем говорить подробно об этой блистательной вещи. Оставим читателям возможность самим соприкоснуться с живительным



СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА





родником сургучевской прозы... Отметим только, что нынешнюю публикацию можно смело отнести к знаковым событиям не только в литературе, но и в российской культуре, в целом. Из небытия возвращается на родную землю золотой запас высокохудожественной и согретой духовной силой русской классики.

Среди тех, кто внес заметный вклад в становление ставропольской литературы, хорошо известны имена Вадима Чернова и Владимира Кудинова. В лучших своих произведениях они развивают открытия предшественников, их творчество отмечено раздумьями о простом человеке, искренностью и гуманизмом.

И в этом следовании традициям русских классиков, безусловно, заключен высший смысл писательского труда. Некрасовское «разумное, доброе, вечное», применительно к нашему XIX веку, означает отстаивание духовных начал, патриотизма, народности. Всё то, что сегодня в большом дефиците. Но мы можем и должны влиять на происходящие перемены. Волей, умом, талантом, пером...

Старик и озеро

1

...Резко открылась дверь просторного кабинета, в котором проходил наш семинар молодых литераторов, и перед участниками предстал коренастый, бородатый («Марксоподобный») мужчина средних лет, с колючими голубыми глазами, с портфелем в крепкой руке, явно чем-то взвинченный. Стало всем понятно, что явился сюда он отнюдь не гладить по головке... Так и вышло! К счастью, мои произведения он не читал, а вот Сахвадзе досталось:

– Коля, брось ты заниматься этой иностранной чепухой, писать под Хемингуэя, - саркастически советовал бородач. – Пиши, па-аньть (т.е. понимаешь), проще, по-русски. А то у тебя диалог на полстраницы...



Так я узнал Вадима Чернова, а позже выяснил, что родителями наречен он был Владиславом. Мне думается, что псевдоним этот долетел из звёздной выси. Именно, Вадим! Это имя осталось и на обложках его книг, и в нашей памяти...

Познакомились мы лет пять спустя, когда я вернулся в Ставрополь, а он окончил Высшие литературные курсы в столице. Штаб краевого Союза писателей находился тогда на третьем этаже исторического здания, на проспекте К. Маркса (ныне там городская мэрия), и в тесную комнату, где, кроме секретаря писательской организации находился сотрудник альманаха, начинающие литераторы приходили с опаской, с ощущением, что они... помешают серьёзным писателям. Однажды явился туда под вечер и я, надеясь застать Сашу Мосинцева, моего наставника по литературной группе. Ещё из-за двери услышал возбуждённые голоса, перепалку. Постучав и войдя, увидел я Вадима в плаще, с неразлучным портфелем, видимо, собирающегося уходить, и Игоря Степановича Романова, – стоящими по-петушиному, грудь к груди. На искаженных лицах, как у мальчишек, готовность драться до конца. От изумления я остолбенел. Полубоги оказались великовозрастными задирами! Моё появление их отрезвило. Сверкнув гневно очами (Вадиму подходит именно эта стилистика), он отступил и, повернувшись, что-то рявкнул, отправляя меня за дверь. Однако на лестнице догнал и сам заговорил первый, стал расспрашивать, откуда я и что пишу. На семинаре – не запомнил. Выражался он несколько вычурно, по-московски, вворачивая старинное слово «глаголит». Не сразу догадался я, что писатель под шефе. Наконец, осмелился и признался, что в моей сумке бутылка вина. Вадим усмехнулся и парировал, что и у него «кое-что, па-аньть, имеется». И, нарушая общественный порядок, на темной осенней улочке мы приложились, по очереди, к горлышкам. И на меня впервые обрушилась словесная писательская импровизация, состоящая из размышлений о литературе, достоинствах и недостатках книг и журналов, из



обличений коллег в бездарности и непорядочности и тяжелых вздохов о нечто неизведанном...

С тех пор и поныне слышу я, выражаясь «современно», этот «базар», этот пустопорожний трёп людей, создающих глубокие и мудрые произведения. Попросту мы, литераторы, люди как люди. А умение колдовать над бумагой, способность такая – Божий знак. И Вадим, в это смысле, был человеком земным, обычным. И в то же время, являясь создателем произведений, обладал душой, состоящей порой из необъяснимых противоречий. Недаром, начав с производственных очерков, небольших документальных книжонок, он вырос в оригинального писателя, стал родоначальником ставропольской фантастики. Вот и с Романовым, выдающимся поэтом, они были дружны, хотя и ссорились. Вместе организовали группу «Апрель», как бы выйдя из подчинения писательской организации. И опять же вдвоём, но в разное время, вернулись в Союз писателей России.

Надо отметить, что Вадим отличался от иных писателей широтой кругозора, эрудированностью, – сказывался опыт работы в газетах, длительная учеба и пребывание в столице, путешествия в дальние края, начитанность. И вместе с тем, он мало сведущ был в музыке, в живописи. Воспринимал их по-своему, по одному ему ведомым критериям. Да и к поэзии тогда относился снисходительно, частенько повторяя «остроту» якобы Бернарда Шоу, что поэты нужны миру, как игроки в кегли. Однако в преклонном возрасте сам стал, говоря его же словами, «пописывать стишата». И из атеиста превратился в церковного прихожанина, потянулся к Богу...

2

Вадим поверил в меня не сразу, всё приглядывался да прислушивался. И вот, подарив мне свою вышедшую в Москве книгу «Королевский краб», он пригласил на самую первую встречу с читателями и сотрудниками магазина «Знание». Безусловно, он старался «играть на

публику». Печать величия на лице и менторский тон не покидали его, пока он выступал, потрясая своим томиком. Слушали его, то и дело вступающего в диалог, заинтересованно. Наконец, свысока глянув в мою сторону, он передал слово «молодому врачу, пробующему себя в поэзии». Представление такого рода и другими впоследствии повторялось на творческих встречах, на концертах. Люди, представлявшие меня, вероятно, сами не понимая, сразу же вызывали у зрителей ложное чувство, будто пред ними любитель-медик, у которого этакое полусерьезное и, главное, вовсе не обязательное хобби. А между тем литература ещё с юности – единственное моё жизненное призвание. Медицина же – профессия, которой я обязан тем, что открыла на многое глаза, стала школой жизни и сблизила с десятками тысяч людей, моих пациентов...

Доброжелательная реакция слушателей совпала с мнением Вадима. Он похвалил, особенно стихотворение «Проводы», о том, как коневоды прощаются с лошадьми, проданными на аукционе. И я понял, что сердце у него – довольно чуткое... С того дня мы нередко выступали вместе, и я благодарен Вадиму за «обстрел молодого бойца», за то, что дал ощутить себя человеком, чьи произведения вызывают отклик.

За четыре года в Ставропольском книжном издательстве вышло у меня три книги (для молодых в восьмидесятые годы – случай беспрецедентный) и встал вопрос о вступлении в Союз писателей. Вадим прозу мою и стихи расхваливал, твердил, что «написано без дураков». Имел он и дерзкую привычку, ни с того ни с сего – пророчествовать. На творческой встрече с московским гостем, выдающимся писателем современности Юрием Бондаревым, проходившей в Доме политпросвещения, Вадим, сидевший рядом, что-то написал на обрывке бумаге и с загадочным видом вручил мне: «Пророчествую: через двадцать лет быть тебе депутатом Верховного Совета и знаменитым писателем. Вадим Чернов» (Хранится она у меня до сих пор). Увы, Верховного Совета не стало уже через восемь лет...



Между тем на общем писательском собрании, наряду с другими, он выступил в поддержку. Все тридцать два члена Союза писателей, составлявших тогда краевую организацию, проголосовали «за».

Потом всё чаще стал встречать я его выпившим, рассерженным, с тоской в глазах. Выяснилось, что семейные неурядицы доводят до развода с молодой женой, до разлуки с единственным сыном. Навалились, к тому же, и неприятности по партийной линии. «Перестроечная» чехарда ломала привычный писательский уклад. Уже реже и не так желанно встречали писательские группы в городах и районах края, а Вадиму, работавшему в Бюро пропаганды художественной литературы при писательской организации, как раз и приходилось устраивать такие поездки. Не лучшие отношения сложились у него и с директором Бюро пропаганды. Наконец, несколько профессиональных писателей и литераторов создали на Ставрополье особую творческую группу «Апрель», выдав себя за поборников демократии и активных сторонников Ельцина.

В этот момент я оставил работу в поликлинике и перевёлся в Бюро пропаганды, заменив там Вадима. А он, будучи человеком амбициозным и импульсивным, на самовольных началах замыслил возглавить альманах «Ставрополье». Однако были назначены выборы главного редактора альманаха, в которых приняли участие профессиональные писатели и, на правах приглашенных, литераторы. Дебаты были жаркие, на грани взаимных оскорблений. «Апрелевцы» напирали. Я отмалчивался, не вмешивался в ход событий. А Вадим – напротив. К моей кандидатуре, выдвинутой Мосинцевым, он отнесся с иронией. Туман самолюбия застил «и.о. главного редактора» глаза, он держался нарочито развязно. Проголосовали. Подавляющее большинство поддержало меня.

Спустя, примерно, неделю зашел я в наше книжное издательство и столкнулся с главным его редактором Анатолием Лысенко. Он полушутя-полусерьёзно сообщил, что «приехала телега» от Вадима Сергеевича



Чернова, в котором тот опротестовывает результаты выборов руководителя альманаха и требует провести их снова. Заметив мое погрузневшее от вероломства лицо, Лысенко поспешил меня успокоить и приободрить: «Говорят, о Шолохове и не такое писали...»

3

Около полугода Вадим при встречах меня не замечал. Между тем дела у нашей редакции пошли на лад, многие материалы, как и по сей день, я редактировал основательно. Слава богу, были еще живы наши выдающиеся поэты, писатели старшего поколения. Первыми среди региональных изданий страны мы опубликовали отрывок из эпопеи Солженицына «Красное колесо». А после статьи Романова, который подверг разносу творчество Ивана Васильевича Кашпурова (именно в том самом номере, в котором «и.о. главного редактора» был Чернов) альманах, ради восстановления справедливости, дал большую подборку новых стихотворений замечательного поэта.

Странное чувство сожаления не покидало меня, когда вспоминал о Вадиме. Я простил его довольно скоро, ибо дедушкой и бабушкой, родителями воспитан в православии. Материалов у альманаха было предостаточно. Но вот как-то Ащеулов недвусмысленно намекнул, что у Чернова-де есть любопытнейшие мемуары о встречах с Вольфом Мессингом. Об этом мне, впрочем, и сам автор как-то рассказывал.

Я набрал хорошо знакомый номер Вадима. Он не ожидал звонка, как-то вначале стушевался, потом взял себя в руки, обрел раскатистость в голосе и охотно откликнулся на предложение опубликовать свой материал (в интонациях всячески проступало желание примириться). При первых встречах, однако, он отводил глаза, держался напряженно, – вероятно, было стыдно за «донос». Впрочем, никогда с нами о том случае больше не вспоминали.

Государственный переворот, спровоцированный Ельциным и его приспешниками, сломал устоявшую-



ся жизнь всех советских людей, а не только писателей. Книжное издательство рухнуло, альманахи закрыли. Каждый выживал, как мог. Я вернулся в поликлинику. А Вадим перебивался то рецензиями, то статьями в газетах, то какими-то выступлениями. Много пил. Но нашел в себе силы «закодироваться» у известного психотерапевта. Иногда он удивлял силой воли! Это его спасло, по-хорошему отрезвило взгляд на жизнь. Грянуло, наконец, его шестидесятилетие. Казаки с почтением подарили ему бурку, как уважаемому члену их «войска», активному участнику возрождения казачества.

Став пенсионером и заимев «Запорожец», он сполна отдался любимому с детских лет занятию – рыбной ловле. К тому же, улов не только занимал в его рационе питания значительное место, но и позволял зарабатывать кое-какие деньжата на бензин и сигареты. Вот тогда мы и сошлись с ним наиболее близко, сдружились. И он в обычной речи, когда был в настроении, чаще всего называл меня «братом», как обращались друг к другу в стародавние годы.

Любя Сенгелеевское озеро с юношеской порой и являясь яростным защитником природы, Вадим вместе с ветераном войны и труда Цверкуном, журналистом Марьевским, народным артистом России Фоменко, спортивным деятелем Абрамовым и другими авторитетными в городе людьми организовал общественный «Экологический пост на Сенгелеевском озере», поддержанный Комитетом по охране окружающей среды. Но милицейские чиновники эту идею приняли в штыки. Начальники роты, охраняющей Сенгелей, ссылались на запретное постановление, принятое еще крайисполкомом, о полной закрытости озера для рыбной ловли и пребывания там посторонних лиц. Дескать, Сенгелей является источником водоснабжения краевого центра, объектом стратегическим. Все попытки Вадима и Цверкуна доказать незаконность постановления, противоречие его с федеральным законодательством так и не привели ни к чему. Позже и письма в прокуратуру о том, что милиционеры-

охранники опутали сетями озеро и, браконьерствуя, добывают там рыбу, также остались без ответа. В качестве подтверждения были предоставлены даже фотографии, но, увы... И по сей день озеро осталось вотчиной правоохранительных органов.

Несмотря на недоброжелательность охранников, наш «Экологический пост» всё же несколько лет существовал. Мы не просто выгоняли с озера браконьеров, разгульные пьяные компашки, убирали оставленный на берегах мусор, но и информировали об этом общественность. Для Вадима, несмотря на все препоны и неурядицы, пребывание на озере, возможность рыбачить удочкой было поистине счастьем. Вот в те дни и открылся он мне в полноте своих человеческих качеств.

4

Под вечер, бывало, заезжал он ко мне или по дороге с рыбалки, или, наоборот, перед тем, как отправиться на Сенгелей. Я охотно к нему присоединялся, если была возможность. Ничуть не смущаясь, летом Вадим садился за руль в одних коротких штанах. Бронзовотелый от загара, с обильно поросшей волосами грудью, бородатый, он выглядел моложаво и крепко, походил на какого-то древнего греческого героя. Озорно и приветливо сияли его глаза, когда начинал рассказывать о рыбалке, о стычках с «ментами», о новой, недавно полученной трёхкомнатной квартире. Время мчалось незаметно. Благо, в ту пору ещё не было автобума, не возникали заторы на улицах, и мы, пропетляв по лесу, выезжали к озеру с восточной стороны, на гребень горы, с которой распахивалась панорама Сенгелея. Слева по склону громоздился лес, постепенно книзу редая, справа тянулся уступистый, местами обрывистый берег, а прямо перед глазами, куда ныряла грунтовка, размашисто светлела водная стихия, кое-где слегка изрыбленная волнами. Вблизи берега вода синела, а вдали отливала то бирюзой, то нежнейшей лазурью, отражая небо. Сердце заходило в восторге



от этого дива, от предвкушения близкой рыбалки. Вадим становился еще оживленней и разговорчивей, – и пускал автомобиль в накат, лихо подворачивал к подворью лесника, где частенько мы покупали свежее молоко, отдающее луговыми травами.

Обычно мы останавливались на «косе», где был «Экологический пост». Обследовав берег, быстро накачивали лодки и – на воду! Не помню, чтобы возвращались к стану с пустыми садками. А затем, как водится, небольшой костерок, ушица, непременно рюмка-другая водки. И откровенные беседы, иногда сумбурные, иногда серьезные, о самом сокровенном. Я с удовольствием слушал Вадима, если тот был в настроении, азартно возбужден и собран. Поражая памятью, рассказывал он и о поездке на Сахалин, и о Мессинге, и об Алтае, и о Мурманске, куда ездил на семинар в качестве руководителя секции писателей-маринистов. Часто заходил разговор о политике, и он, полностью разочаровавшийся в ельцинском правлении, своих бывших единомышленников называл «дерьмократами», жалел, что легко поверил их лозунгам и обещаниям. Много говорили мы и о литературе, о делах в писательской организации. Теперь он покаянно хвалил стихи Кашпурова и Екимцева. По отдельным фразам и замечаниям я догадывался, что он понемногу, но пишет, делает записи в дневнике. Наполненность жизнью, интерес ко всем ее проявлениям, как и подобает писателю, было стержнем его характера. Он одинаково легко общался с людьми разного социального положения, потому что обладал способностью быстро оценивать и понимать людей. Впрочем, как и у всякого, бывали у него промахи. С болью говорил он о сыне, неприкаянном, не нашедшем себя в этом разворошенном российском бытѐ-житѐе. О своем одиночестве. Порой вспоминал эпизоды жизни и делал выводы, коря себя за необдуманность. И я невольно ощущал его обаяние, человека, многое пережившего, многое познавшего в творчестве и жизни, – ставропольского Хэмингуэя. Об этом американском писателе он упоминал чаще всего. И, если

не ошибаюсь, его любимым произведением была повесть «Старик и море». Он и бороду, как слышал, начал носить, увидев портрет нобелевского лауреата.

Почему-то запомнился мне тихий августовский вечер, который мы вдвоём проводили на Сенгелее. За день до этого у Вадима была стычка с браконьерами, которые откровенно ему угрожали. Он, видимо, перенервничал и был задумчивей, чем в иные приезды. Да и с «воды» выплыл далеко до захода солнца. А я, увлеченный рыбалкой, таскал подлещиков, плотву, густеру и опомнился лишь тогда, когда клёв как обрезало. Солнце уже скрывалось за грядой холмов, синееющих на западе, и по воде огнисто отблескивала россыпь бликов, качающихся на тихих волнах, как цветы. Вечерние краски озерной глади потемнели, стали фиолетовыми и зеленоватыми, а в дальнем конце озера уже трогала воду сгущающаяся мгла.

Я подгробал к берегу, устало улыбаясь, и смотрел прямо на Вадима, сидевшего на берегу в одних трусах. Он курил, в раздумье глядя куда-то вдаль, на кручи противоположного берега. И время от времени оглаживал спереди назад, оправляя рукой порыжелые от солнца, русые волосы – характерным только для него жестом. Я невольно залюбовался им, замершим в прочной скульптурной позе. Лицо Вадима в этот момент походило на чело русского православного священника, – столь умиротворенным, светлым и строгим было оно. Когда я вышел на прибрежную поляну, он вдруг, оторвавшись от раздумий, произнес с неожиданным пафосом:

– Напишу в завещании, чтобы похоронили меня на берегу Сенгелеевского озера. Хорошо здесь лежать... На Ставрополье, па-нить, нет для меня места дороже!

Я возразил, попенял, что об этом ему рано ещё думать.

В тот вечер мы не разжигали костра, обошлись съестными припасами. Да и разговор как-то вяло влёкся, перескакивал с пятого на десятое. Вадим, по



обыкновенно, уместился спать на своей вверх дном перевернутой лодке, а я, спасаясь от комаров, лёг в его машине. И долго не мог уснуть, охваченный мыслями. Его неожиданное признание меня не на шутку взволновало. Да, каждый из нас рано или поздно покинет этот земной мир, и то, что Вадим сегодня вспомнил вдруг о смерти было противоестественно. Что заставило его так растрогаться? Неужели размах озерного простора, несказанная красота заката, неба, берегов, усыпанных древними валунами? Он точно бы слился с окружающей природой, ощутил себя частицей всего этого и – не сдержал запредельного восторженного чувства, пронизавшего душу... И я стал обдумывать судьбу Вадима, такую сложную, запутанную, полную ошибок и удач, заблуждений, скоропалительных решений и мудрых книг. В сущности, одинокую, бедную на женскую любовь и ласку, – но сотворенную всё же им самим, выбранную им самим, ибо свобода и своеволие были для него превыше всего на свете. Ради этого он многое, многое отверг. У «Хэма» было море, у Вадима – озеро. В сущности, мы проживаем свои жизни под одним солнцем и наполняют нас одни и те же чувства и мысли, волнуют одни проблемы, – с момента возникновения цивилизации и по сей день. Просто об одном человеке знают миллионы, о другом тысячи, о третьем – единицы. Не в этом человеческое величие и достоинство, а в служении добру. Что остаётся после нас? Бессмертные произведения или выжженная земля? Теплая память или людской гнев? Всё же Вадим, подумалось мне, – человек, познавший на Земле высшее счастье, счастье творческого созидания, прикоснулся к священной лире. И от этого вывода мне стало спокойно, и подступила сладкая дрема...

Вот таким, просветленным и задумчивым, сидящим с сигаретой в руке на закатном берегу озера и смотрящим куда-то вдаль, и запомнился мне навсегда Вадим, брат во Христе и по литературе, – мыслитель, писатель, романтик...

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ВЕНОК

Фаталист

М. Ю. Лермонтову

Кому судьба готовит смерть от
пули,
Тому не быть поверженным
клинком.
Кого в любви однажды обманули,
Того к венцу не повести силком.

Так думал он, легко в седло
взлетая,
Навстречу ветру торопил коня.
А горизонта строчка золотая
Вытягивалась в линию огня.

Неуязвим! Не силой ли молитвы,
Не в искупленье ль девичьей
слезы
Он невредимым выходил из
битвы
И жил одним предчувствием
грозы?

Но, словно пилигрим, томимый
жаждой,
Святой источник зря искал
во мгле.
Кто бросил вызов небесам
однажды,
Уже не будет счастлив на земле.

Дуэль, и выстрел в воздух –
что ж так плохо?
Посланник смерти – пуля иль
кинжал?



**ЕКАТЕРИНА
ПОЛУМИСКОВА**





Он будто бы своим последним вздохом
Испытывать фортуна продолжал.

О, беспощадный век!
О, век жестокий!
Кто жаждал бури, тех судить не нам.
Как в ту грозу, мятежных молний строки
Раскалывают небо пополам.

И нет покоя...
И лучами славы
Прошиты грозовые облака.
И снова безутешно плачут травы
На молчаливых склонах Машука.

**Домик М. Ю. Лермонтова
в Пятигорске**

Сад. Крыльцо. Камышовая крыша.
Темень в окнах – не видно ни зги.
Только в полночь как будто бы слышен
лёгкий скрип половиц и... шаги.

Словно поздней порой с вечеринки
возвратился опальный поэт,
проскользнул через двор по тропинке
и тихонько прошёл в кабинет,

чтобы вновь над заветной тетрадкой
при свечах колдовать у окна
и беседовать с Музой украдкой,
и писать до рассвета без сна.

И пока темнота не растает,
будет снова метаться душа.
Он всю рукопись перелистает,
пожелтевшей бумагой шурша,

спешно примется за акварели
и стихом заболает опять.
И уже ни враги, ни дуэли
не посмеют ему помешать...

Жизни отнятой, жаль, невозможно
отыграть по мгновеньям в ночи.
Оттого ли так бьётся тревожно
вдохновенное пламя свечи?

Как в тумане, года промелькнули –
Мчится время своим чередом.
И стоит сиротою в июле
с камышовою крышею дом.

**Накануне дуэли
(монолог М. Ю. Лермонтова)**

Скажи, Монго,
фортуною храним,
доколе на земле скитальцем буду –
опальный бард, печальный пилигрим,
царём гоним, но мил простому люду?

Готов я смерть принять.
Да где же та,
что в смертный час, меня, любя, оплачет?
Иль ждёт меня иная красота,
и мир иной, где будет всё иначе?

О, верный друг мой!
Беспробудным сном
мне жизнь моя казалась поначалу.
И сколько б я ни думал о былом,
мой парусник не находил причала!



А в эту ночь, пожалуй, не уснуть...
Дуэль – великий грех, не прегрешенье.
Я чувствую, что мой тернистый путь
неотвратимо близок к завершению.

Я всё яснее слышу голоса
далёких звёзд.
Иду на зов опять я.
В грозу меня оплачут небеса,
и мать-земля мне распахнёт объятия.

Замешан век на войнах, на крови.
Жестокое пари со смертью – в силе!
Возрадуются недруги мои
и пир устроят на моей могиле.

Но прежде – пусть поспразднуют друзья
в компании со мной, а не на тризне!
Пусть скажут, что бывал и весел я
в своей короткой и мятежной жизни.

Что каждый миг свой, как последний час,
и в дружбе, и в бою я прожил честно.
И я молю, чтобы к Вратам Небесным
меня умчал крылатый мой Пегас.

**Роза Кавказа
(маленькая поэма)**

Эмилии Клингенберг (Шан-Гирей)

Летом 1839 г. в Пятигорске В. И. Барятинский ухаживал за Э.А. Клингенберг, и как тогда говорили, князь «сорвал знаменитую La Rose du Caucase (Розу Кавказа)». Но женитьбы не последовало. Кто рассказал эту историю Лермонтову, сам Владимир Барятинский, оскорбленный её отказом, или же князь Александр Долгоруков, доподлинно неиз-

вестно. Спустя десять лет после гибели поэта Эмилия вышла замуж за друга и троюродного брата Лермонтова А. П. Шан-Гирея. Супруги Шан-Гирей стали первыми биографами поэта, мемуаристами и хранителями его творческого наследия.

1

Как жаль, что историю эту
трагичный финал увенчал...
Вернувшись в столицу, поэту
Барятинский как-то сказал:

«Мишель, тот поймёт меня сразу,
кто тайно любил и страдал!
Поверишь ли, Розу Кавказа
я летом на Водах «сорвал».

О, эти кавказские ночи!
Тебе я признаться готов:
нет яблока без червоточин,
нет розы без острых шипов.

Она на других не похожа,
и жребий её не таков,
чтоб возле фамильного ложа
цвести, украшая альков.

Надменной гордыне в угоду,
незыблема, словно скала,
Кавказская Роза свободу
дворцам и гербам предпочла...»

2

Назло всем завистникам света
и сплетникам наперекор
сразил в Пятигорске поэта
красавицы пламенный взор.



В рассветных лучах небосвода
девицей любясь не раз,
он виделся с нею на Водах,
на конных прогулках в Каррас.

Ум острый, и дерзкие речи –
столичным княжнам не чета!
Всё больше при каждой их встрече
манила её красота

румянцем то гневным, то милым,
как сполох вечерней зари.
С каким же неистовым пылом
поэт проиграл ей пари!

Но, небу так было угодно,
и участь их предрешена...
Ведь сердце его – не свободно,
она – ещё не влюблена!

3

И вот, у Верзилиных в доме,
вновь Лермонтов встретил её,
когда у судьбы на изломе
кружило беды вороньё.

В тринадцатый вечер июля
поэт вдохновенно шутил,
летели словесные пули –
одуматься не было сил!

С азартом метали остроты
Лев Пушкин и князь Трубецкой,
не ведая, что, как по нотам,
фортуна сыграет отбой.

Поручик злословил упрямо,
лишь страстью одной одержим.



Смеялась «прекрасная дама»
над «горцем с кинжалом большим».
(Екатерина Полумискова)

«Мой враг – мой язык!» – так сказала
та гордая мадмуазель,
не думая, что после бала
грядёт роковая дуэль.

К чему бесполезные слёзы?
Что стоит хула и хвала?
...Там выросли дикие розы,
где кровь его в землю ушла.

4

Красавица боль и сомненья,
терзаясь, несла сквозь года.
Казалась рекою забвенья
событий былых череда.

Поэта наследие свято.
И стать суждено было ей
женой его друга и брата,
прекрасной «мадам Шан-Гирей»,

кто вскоре поведаст миру
всю добрую правду о нём,
его вдохновенную Лиру
в сердцах воскресит.

А потом...

Умолкли враги и невежды.
И только в бескрайней дали
все розы огнями надежды
во славу поэта цвели.



Облака, степные кобылицы,
вновь уходят в бронзовый закат.
И слагают люди небылицы,
кто был прав тогда, кто виноват.

Кто нарушил правила дуэли?
Был ли выстрел в воздух или нет?
И какие призрачные цели
видел в этой смерти «высший свет»?

Только солнце, вспомнив об обете
сохранить и правду, и покой,
как немой, единственный свидетель,
каждый день восходит над землёй.

Дуэль? Убийство? Недоразуменье?
Стечение обстоятельств роковых –
И обернулось вечностью мгновенье...
Лишь только выстрел строчек огневых
Теперь остался навсегда за Вами.
Пророчествам былым наперекор
Стреляйте же без промаха словами!
Промчитесь над землёй во весь опор
Верхом на скакуне своём крылатом,
А не листком, что бурей унесло,
Являя миру с грозным раскатом
Поэта вековое ремесло.
Пусть будут эполеты в звёздной пыли!
Презрев покой и на пределе сил
Любите тех, кого не долюбили,
Прощая тех, кто Вас не долюбил.
И ангел Ваш иль демон тьмы и света,
Быть может, заслонит ещё крылом
Уже другого дерзкого поэта,
Ведущего теперь дуэль со злом.

**«Все картины
военной жизни,
которых я был
свидетелем...»**

В ноябре 1840 года, вернувшись из тяжелой двадцатидневной экспедиции по Чечне, Лермонтов писал из крепости Грозной своему другу Алексею Лопухину: «Может быть когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем». Рассказать «долгие труды» и «все картины» поэт не успел, хотя и намеревался писать большой роман или даже трилогию «из кавказской жизни». Лермонтов с честью носил мундир русского офицера. Окончив недолгий, оборванный пулей, воинский путь в скромном звании армейского поручика, он достиг небывалых высот в русской батальной поэзии. За строками таких непревзойденных лермонтовских шедевров, как «Завещание», «Валерик» и «Сон» стоит его драматическая боевая судьба.



**НИКОЛАЙ
МАРКЕЛОВ**





«Здесь, кроме войны, службы нету»

Друг детских игр, троюродный брат Лермонтова Аким Шан-Гирей вспоминал, что юный Мишель «лепил из крашеного воску целые картины». Иногда сюжетами этих картин служили эпизоды победоносных сражений Александра Македонского с персами. По другим воспоминаниям, среди детских игр Лермонтову нравились те, «которые имели военный характер. Так, в саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля».

Эти военные пристрастия опирались, несомненно, на родовую память будущего поэта. Его дальний предок, основатель рода Лермонтовых в России, шотландец Георг Лермонт служил в качестве ландскнехта (наемника) у поляков, но в 1613 году при осаде города Белого был взят в плен и счел за лучшее перейти в ряды московского войска, на «государеву службу». В русском обиходе стал называться Юрьем, получил чин ротмистра и принял смерть на поле боя под Смоленском, пролив свою шотландскую кровь за новую русскую родину.

Офицерами русской армии были отец, дед, прадед и прапрадед поэта. Дед по матери Михаил Васильевич Арсеньев, в память о котором Лермонтов получил свое имя, был капитаном гвардии, многие из его братьев – офицерами, а брат Никита имел чин генерал-майора. Один из братьев бабушки Лермонтова, урожденной Столыпной, Александр был адъютантом Суворова и оставил записки о нем. Ее брат Николай дослужился до генерал-лейтенанта, брат Дмитрий – до генерал-майора, брат Афанасий, которого Лермонтов очень любил и называл «дядюшкой», был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость», участвовал в Бородинском сраже-



нии. Гувернерами Мишеля были отставные наполеоновские гвардейцы: сначала Жан Капе, а потом «почтенный и добрый старик» – капитан Жандро, последнего мальчик «особенно уважал».

Сам Лермонтов, не окончив курса в Московском университете, восемнадцати лет поступил в петербургскую Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Размещалась она на набережной реки Мойки у Синего моста. Отсюда юный поэт писал Марии Лопухиной: «До сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принёс своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я – воин. Быть может, это особая воля провидения; быть может, этот путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулею в груди – это лучше медленной агонии старика. А потому, если будет война, клянусь вам Богом, буду всегда впереди».

Испытать себя в настоящем бою поэту предстоит еще не скоро, а пока он с успехом постигает воинское искусство. «Лермонтов был довольно силен, – вспоминает его товарищ Александр Меринский, – в особенности имел большую силу в руках и любил состязаться в том с юнкером Карачинским, который известен был по всей школе как замечательный силач...» В очередной раз, когда друзья на спор гнули шомполы гусарских карабинов, в залу вошел директор школы генерал Шлиппенбах. За порчу казенного имущества оба силача отправились на сутки под арест. Лермонтов крепко держался в седле, хотя однажды и поплатился за свою удачу. «Сильный душой, он был силен и физически, – продолжает Меринский, – и часто любил выказывать свою силу. Раз, после езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, новичком, подстрекаемый



старыми юнкерами, он, чтоб показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Он проболел более двух месяцев...»

Класс фехтования был обязателен для всех юнкеров, за которыми оставался только выбор оружия – эскадрон или рапира. Судьба распорядилась так, что противником поэта в учебных поединках часто становился его будущий убийца. «Я гораздо охотнее дрался на саблях, – признавался Николай Мартынов. – В числе моих товарищей только двое умели и любили так же, как я, это занятие: то были гродненский гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, и эти полутеатральные представления привлекали много публики из товарищей...»

Обучение длилось два года, соответственно существовало и два класса: младший (второй) и старший (первый). Учащиеся, гвардейские пехотинцы и кавалеристы, с самого начала значились по своим полкам: так, Лермонтов был зачислен в Школу унтер-офицером лейб-гвардии Гусарского полка и только спустя месяц был переименован в юнкера, обмундирован по форме своего полка и представлен его командиру. По окончании Школы – произведен в корнеты и 7 декабря 1834 года в Портретной галерее Зимнего дворца принес присягу «на верность службы».

Военные традиции продолжали и другие представители лермонтовского рода. В одно время с поэтом в рядах русских войск несло службу еще несколько офицеров с той же фамилией. Среди его

кузенов имелись адмирал и три генерала, а его четвероюродный племянник, впоследствии полный генерал, Александр Михайлович Лермонтов в ходе русско-турецкой войны отличился при освобождении болгарского города Бургаса в 1878 году. За годы военной карьеры он был награжден золотым оружием «За храбрость» и четырнадцатью орденами. В память о нем одна из улиц Бургаса названа его именем. Кстати сказать, знаменитый российский премьер-министр и реформатор Петр Аркадьевич Столыпин приходился поэту троюродным братом.

Почти на всех портретах Лермонтов изображен в военной форме. Таким же он предстает и в памятниках, сооруженных в Пятигорске и Петербурге, Москве и Пензе, многих других городах. Принято считать, однако, что ни один портрет Лермонтова, взятый отдельно, не дает реального представления о его внешнем облике. Современники находили, что на портретах Лермонтов «польщен». Художник же М.Е. Меликов, хорошо знавший поэта с детства, признавался, что «никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица» и что, по его мнению, «один только К.П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды...» Сам Брюллов высказался по этому поводу довольно сдержанно, если не сказать – прохладно. «Физиономия заслоняет мне его талант, – признавался великий мастер. – Я, как художник, всегда прилежно следил за проявлением способностей в чертах лица человека, но в Лермонтове я ничего не нашел».

Надо полагать, еще большие трудности вызвала бы у скульптора попытка передать в материале «неправильности» фигуры поэта. Суммируя впечатления современников, можно сказать, что Лер-



монтов был невысокого роста, «приземистый», с несоразмерно большой головой и широким туловищем, кривоногий, в чем, вероятно, сказывались и последствия тяжелой травмы, полученной в манеже: правая нога была тогда сломана ниже колена, «и ее дурно срастили». По словам Шан-Гирея, в школе Лермонтов носил прозвание Маёшки – от М-г Маеух, горбатого и остроумного героя давно забытого шутовского французского романа. Отмечают также его гордую, непринужденную осанку и «необыкновенную гибкость движений».

Лейб-гусары стояли в Царском Селе, несли караульную службу во дворце, участвовали в придворных празднествах и церемониях. О встрече с поэтом в Царскосельском парке рассказал художник Меликов: «Живо помню, как, отдохнув в одной из беседок сада и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из беседки и встретился лицом к лицу с Лермонтовым после десятилетней разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашёл значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой. Казалось мне в тот миг, что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта, исчезла... Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда, всю свою короткую жизнь».

Еще недавно, мечтая об офицерских эполетах, Лермонтов представлял свою будущую «восхитительную» жизнь, как череду «чудачеств, шалостей всякого рода и поэзии, залитой шампанским». Что касается шалостей и чудачеств, то есть здесь и доля истины, и доля гусарской бравады. Если говорить о поэзии, то вместо шампанского лучше вспомнить

«железный стих, облитый горечью и злостью». За стихотворение «Смерть поэта» Лермонтову пришлось расплачиваться ссылкой: корнета Лермонтова царь Николай сначала посчитал помешанным, а потом велел перевести в армейский полк на Кавказ. Солдатский мундир в подобной ситуации уже довелось примерить выпускнику Московского университета Александру Полежаеву. За вольнодумную поэму «Сашка» он был отдан Николаем в Московский пехотный полк и четыре года провел в боях и походах в Чечне и Дагестане. Лермонтов же счастливо отделался переводом из гвардии в Нижегородский драгунский полк, расквартированный в Грузии. 27 февраля 1837 года, то есть отслужив гусарским корнетом два года и почти три месяца, высочайшим приказом поэт был переименован в прапорщики единственного тогда на Кавказе регулярного кавалерийского полка.

В марте 1837 года, покидая Петербург, поэт успел отослать в журнал «Современник» свое «Бородино» – первое стихотворение, которое он сам решил отдать в печать, и, если бы его поэтическая карьера на этом пресеклась, то и того бы достало, чтобы каждый из нас теперь мог без труда процитировать строки о сожженной пожаром Москве и отступивших басурманах. Описав главную национальную битву, подробности которой были известны ему лишь по рассказам, Лермонтов отправился к полям новых сражений, где теперь ему самому предстояло пролить кровь, свою или чужую. «Вот затрещали барабаны...» – это были барабаны судьбы.

На Кавказе, как всегда, шла война. Горцам, собранным Шамилем под знамена газавата, противостояли силы Отдельного Кавказского корпуса, штаб-квартира которого размещалась в Тифлисе. С северной стороны хребта наши войска были рас-



положены вдоль Кавказской линии, протянувшейся от моря и до моря и представлявшей собой цепь крепостей и казачьих станиц. Командование войск Линии находилось в Ставрополе. Боевые действия против горцев проводились обычно в два захода, это были летние и осенние военные экспедиции, целью которых являлось уничтожение непокорных воинственных аулов, рубка широких просек в дремучих лесах и вытеснение горцев в бесплодные ущелья. Горцы в ответ наносили русским неожиданные и болезненные удары, осаждая крепости, перерезая пути сообщений, совершая стремительные рейды по нашим тылам и используя при этом свой излюбленный боевой прием – неотразимый набег.

Участливые хлопоты родни достигли генерал-майора В.Д. Вольховского, лицейского друга Пушкина, а в то время – начальника штаба Кавказского корпуса. Бывалый кавказец рассудил по-своему и решил отправить молодого офицера за Кубань, в отряд генерала А.А. Вельяминова, огнем и мечом приводившего к покорности горские аулы. «Два, три месяца экспедиции против горцев могут быть ему небесполезны, – полагал Вольховский, – это предействительное прохладительное средство, а сверх того – лучший способ загладить проступок. Государь так милостив...»

В дело вмешался случай: по дороге Лермонтов простудился, в Ставрополе угодил в госпиталь, и все лето 1837 года ему пришлось провести не в жарких схватках за Кубанью, а на горячих водах в Пятигорске. Сезон 1837 года здесь выдался на редкость удачным, а в литературном смысле даже перспективным: в Пятигорске с Лермонтовым познакомился Белинский и впоследствии мог по личным наблюдениям судить о реалистических достоинствах «Княжны Мери».



Окончив курс лечения, поэт с наступлением осени отправился в свой эскадрон, находившийся в то время на побережье Черного моря. Боевые действия были уже остановлены, войска готовились к встрече императора Николая. «Я приехал в отряд слишком поздно, – с огорчением сообщал Лермонтов другу, – ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела... я сделался ужасным бродягой, а право я расположен к этому роду жизни». 29 сентября в укреплении Ольгинском он получил предписание следовать в свой полк и подорожную «до города Тифлиса».

Осенью 1837 года Лермонтов исколесил весь Кавказ – «изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани», был в Тифлисе, в Кахетии и Азербайджане, а возвратный путь на север проделал по Военно-Грузинской дороге. Строки письма передают опасный эпизод, когда поэт и его спутники подверглись нападению: «Два раза в моих путешествиях отстреливался; раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер из нашего полка и черкес (мирный, разумеется), – и чуть не попались шайке лезгин...» Позднее в его странствиях был еще случай, когда поэт вновь подвергся опасности пленения. По рассказу А.А. Краевского, Лермонтов подарил ему свой кинжал, которым однажды отбивался «от трех горцев, преследовавших его около озера между Пятигорском и Георгиевским укреплением. Благодаря превосходству своего коня поэт ускакал от них. Только один его нагонял, но до кровопролития не дошло. – Михаилу Юрьевичу доставляло удовольствие скакать с врагами на перегонку, увертываться от них, избегать перерезывающих ему путь». Рассказ этот подтверждают и воспоминания П.И. Магденко, попутчика в одной из поездок поэта. По его словам, Лермонтов



«указывал нам озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне».

Той же осенью на Кавказе побывал Николай I, и императорский круиз прошел не без пользы для поэта: 11 октября года в Тифлисе, во время пребывания там государя, был отдан высочайший приказ о переводе «прапорщика Лермантова Лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом». Решающую роль в прощении и возвращении его в гвардию сыграл, как ни странно, шеф жандармов граф А.Х. Бенкендорф. В письме родственника поэта – А.И. Философова по этому поводу сообщалось следующее: «... граф Орлов сказал мне, что Михайло Юрьич будет наверное прощен в бытность Государя в Анапе, что Граф Бенкендорф два раза об этом к нему писал и во второй раз просил доложить Государю, что прощение этого молодого человека он примет за личную себе награду; после этого, кажется, нельзя сомневаться, что последует милостивая резолюция...»

Большое кавказское приключение подходило к концу. Подводя итог затянувшейся кавказской одиссеи, поэт заметил: «Здесь, кроме войны, службы нету», и справедливость этих слов ему впоследствии довелось в полной мере испытать на собственном опыте. Он еще очень молод (ему только 23 года) и полон планов, хочет ехать в Мекку, в Персию или проситься в экспедицию в Хиву с генералом Перовским. Ехать все же пришлось к новому месту службы: лейб-гвардии Гродненский гусарский полк размещался в Селищенских казармах в Новгородской губернии. Здесь поэт пробыл меньше всего – прибыл в расположение 26 февраля 1838 года, а убыл в начале двадцатых чисел апреля, то есть числился на лицо менее двух месяцев, причем дважды получал отпуск



по 8 суток и выезжал в Петербург. Хлопоты бабушки увенчались успехом: внука удалось вернуть в родной для него лейб-гвардии Гусарский полк.

Свежий воздух Кавказа еще долго кружил ему голову. «Для меня горный воздух – бальзам», – признавался поэт в письме из Петербурга к Святославу Раевскому, а узнав, что тот собирается на юг, сделал для него особое предуведомление: «Я слышал здесь, что ты просился к водам и что просьба препровождена к военному министру, но резолюции не знаю; если ты поедешь, то, пожалуйста, напиши, куда и когда... Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее. Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа все холодно, когда другим жарко, а уж здоровее того, как я теперь, кажется, быть невозможно...»

О Кавказе он вспомнил и в письме к Марии Лопухиной: «Когда я возвращаюсь домой, я без конца слышу разные истории, жалобы, упреки, подозрения и заключения; это просто несносно, особенно для меня, потому что я отвык от этого на Кавказе, где в обществе дамы – редкость, да к тому же они не разговорчивы (например, грузинки: они не говорят по-русски, а я по-грузински)».

Служака из него получился неважный. «Ученье и маневры, – признавался поэт, – производят только усталость». Как-то раз наш корнет появился на разводе с короткой, чуть ли не игрушечной саблей. Шеф гвардейского корпуса великий князь Михаил велел сабелку снять и дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, а Лермонтова отправил на 15 суток гауптвахты. В другой раз поэт поплатился арестом за неформенное ши-



тье на мундире. Первого (и последнего) повышения в чине пришлось ждать более двух лет. Только 6 декабря 1839 года высочайшим приказом Лермонтов был произведен из корнетов в поручики (в отличие от армии звания подпоручика в гвардии не имелось).

В начале лета 1840 года Лермонтова за дуэль с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом вновь отправили на Кавказ – тем же чином в Тенгинский пехотный полк, о чем приказ был отдан 17 апреля 1840 года. В это время на левом фланге Линии был сформирован Чеченский отряд генерала А.В. Галафеева, базировавшийся в крепости Грозной. «Если ты будешь мне писать, – сообщал Лермонтов Алексею Лопухину, – то вот адрес: «на Кавказскую линию, в действующий отряд генерал-лейтенанта Голофеева, на левый фланг». В составе Чеченского отряда поэт выступил в свою первую экспедицию.

Покинув лагерь близ Грозной в первых числах июля 1840 года, Галафеев пересек Сунжу, прошел Ханкальское ущелье и с боями продвинулся к Гойтинскому лесу. Затем последовал переход к Урус-Мартану и селению Гехи, где вскоре и произошли главные боевые события предпринятой операции. На своем пути войска уничтожили ряд чеченских селений. Каждый шаг вперед здесь давался потом и кровью. Движение осуществлялось порядком, который на армейском жаргоне называли «ящиком»: артиллерия и обоз в центре, пехота несколькими цепями шла по обеим сторонам, предупреждая нападение противника с флангов; смешанные, более подвижные отряды кавалерии и пехоты составляли авангард и арьергард.

В темном гехинском лесу Галафеева ждала засада. В течение трех дней чеченцы, собрав значительные силы, готовились встретить врага. В местах,

удобных для обстрела, устраивались завалы из срубленных деревьев. 11 июля у переправы через реку Валерик вспыхнул кровопролитный бой, развивавшийся по обычной в таких случаях схеме: осыпав русскую колонну градом пуль, горцы укрывались за стволами деревьев. В ответ следовал орудийный залп, и начинался штурм завалов, чреватый большими потерями для атакующих. Кончалось все жестокой рукопашной схваткой, практически резней, о чем, собственно, и сообщает Лермонтов в стихотворении «Валерик»:

*«Ура!» – и смолкло. «Вон кинжалы,
В приклады!» – и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь.
Ручей телами запрудили...*

В доверительном письме другу поэт вопреки запрету военных властей («описывать экспедиции не велят») приводил некоторые подробности дела, страшные картины которого спустя долгое время все еще стояли перед его глазами: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте – кажется, хорошо! Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела пахло кровью...»

Вернувшись в крепость Грозную, отряд Галафеева вскоре совершил поход в Северный Дагестан. «С тех пор как я на Кавказе, – замечает Лермонтов, – я не получал ни от кого писем, даже из дому не имею известий. Может быть, они пропадают, потому что я



не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом».

В конце сентября Галафеев выступил из Грозной к реке Аргун. Во время похода получил ранение Руфин Дорохов. «Он считался храбрым и отличным кавказским офицером, – вспоминал современник, – носил имя, известное в русской военной истории; и, подобно Лермонтову, страстно любил кавказский край...» Будучи намного старше Лермонтова, Дорохов имел скромный чин, так как за участие в дуэлях и буйное поведение не раз лишался офицерских погон. Старый кавказский рубака, Дорохов имел под началом «команду охотников», которую, выбыв по ранению из строя, передал Лермонтову. Человек, чья легендарная храбрость не только не требовала сравнений, а сама служила известным мерилom, Дорохов высоко оценил воинскую отвагу поэта: «Славный малый – честная прямая душа – не сносить ему головы. Мы с ним подружались и расстались со слезами на глазах. Какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет убит... Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр – не сносить ему головы».

Обратимся к рассказу офицера-артиллериста Константина Мамацева, рисующего драматический эпизод осеннего боя в Чечне: «Последний арьергардный батальон, при котором находились орудия... слишком поспешно вышел из леса, и артиллерия осталась без прикрытия. Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг Мамацев увидел возле себя Лермонтова, который точно из земли вырос с своею командой. И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, чтобы кинуться на горцев...»



Выбор командира оказался психологически оправданным. «Я вошел во вкус войны, – признавался поэт, – и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными». В письме к Алексею Лопухину Лермонтов назвал свою команду охотников чем-то вроде партизанского отряда.

Первый биограф Лермонтова профессор П.А. Висковатый, собравший по рассказам очевидцев немало ценных сведений, приводит подробности боевой биографии поэта, характеризующие его как командира и офицера: «Раненный во время экспедиции Дорохов поручил отряд свой Лермонтову, который вполне оценил его и умел привязать к себе людей, совершенно входя в их образ жизни. Он спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода». Воспоминания же враждебно настроенного к поэту Л.В. Россильона звучат совсем в ином тоне, но и здесь мы найдем интересные детали: «Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем Лермонтовского отряда».

В терминах тех времен действия лермонтовской сотни иначе, чем «партизанской войной», назвать было трудно. По существу же, это была особая штурмовая группа, прообраз современного спецназа, с широким диапазоном боевых задач. Условия горной войны диктовали при этом и выбор оружия и способы ведения боя. Внешняя бесшабашность («сброд», «головорезы») на деле оборачивалась прекрасной подготовкой к бесконечным рукопашным схваткам. Успешно перенятые у противника



боевые качества – подвижность, быстрота и неотразимый натиск – обеспечивали действиям «летучей сотни» максимальный эффект.

Говорить о возможной военной карьере Лермонтова трудно даже предположительно. Он собирался выйти в отставку, издавать свой журнал и писать большой роман из кавказской истории. Если не считать дисциплинарных взысканий в Школе, то за время службы Лермонтов был арестован не менее четырех раз и провел в заключении в общей сложности около трех месяцев. За дуэль с де Барантом был предан военному суду. Дважды, за стихотворение на смерть Пушкина и поединок, его могли разжаловать в рядовые. На постоянные переезды поэт потратил за свою жизнь целый год. Болезни, отпуска, а потом и практически самовольная отлучка на воды в 1841 году – все это заставило Лермонтова провести вне строя еще несколько месяцев. Он успел послужить в четырех разных полках, а из своего родного, лейб-гвардии Гусарского, был исключен дважды и отправлен в армейские части «тем же чином», что на деле означало все-таки понижение, так как гвардейский офицер имел «старшинство» перед армейским того же звания.

«Вкус войны», о котором Лермонтов, явно бравируя, писал другу, оказался солоноватым от крови и безмерно горьким. Она накладывает на душу свой мертвящий отпечаток, и герой «Валерика» наблюдает ее чудовищные сцены уже «без кровожадного волнения», просто как «представление» или «трагический балет». Двое из однокашников Лермонтова, А.И. Бярятинский и Д.А. Милютин, окончили ратный путь в чине генерал-фельдмаршала, многие дослужились до генеральских погон. Лермонтов же навсегда остался в

нашей памяти в скромном звании поручика Тенгинского пехотного полка.

«Им бог свобода, их закон – война...»

В молодые годы декабрист Александр Иванович Якубович несколько лет прослужил офицером на Кавказе и приобрел себе репутацию отчаянного храбреца. К тому же он неплохо рисовал и владел пером. Вернувшись в Петербург, Якубович вступил в Северное тайное общество, в рядах которого состоял и молодой талантливый беллетрист Александр Бестужев. После декабрьского мятежа судьба развела их: Якубович попал в сибирские рудники, а Бестужеву удалось вымолить монаршее снисхождение: из якутской ссылки его перевели рядовым на Кавказ. На каторге Якубович с увлечением перечитывал кавказские повести Бестужева (опубликованные под псевдонимом Марлинский) и просил его передать привет старым знакомцам.

Особенно сильным оказалось впечатление от повести «Мулла-Нур». Восхищенный Якубович даже составил для Бестужева перечень различных примечательных событий кавказской жизни, известных ему по прежней службе, полагая, очевидно, что какая-либо из этих драматических историй послужит знаменитому писателю материалом для будущих творений. Среди прочего имеется в письме и такая заметка: «...братоубийство князя Росламбека Мисостова; адъютант Потёмкина, человек образованный, – злодей, убийца; ступив на родную землю: грызение совести и раздел крови между убийцами, – вот канва для целого романа». Здесь Якубович проявил тонкое литературное чутье, справедливо находя, что этот темный кровавый эпизод недавнего кавказского прошлого перо беллетриста способно развер-



нуть в увлекательный роман. Он, разумеется, не мог и представить тогда, что произведение на этот сюжет уже написано, правда, не в прозе, а в стихах. Речь идет об одной из ранних кавказских поэм Лермонтова.

Поэма или, как сам автор определил ее жанр, восточная повесть «Измаил-Бей» – самое крупное стихотворное произведение Лермонтова, превосходящее по объему «Демона» и «Мцыри» вместе взятых. Главные герои – братья Измаил и Росламбек, черкесские князья – имеют реальных прототипов, а изображенные события – историческую подоплеку. Что касается картин природы, описания быта горцев, их вооружения, обычаев, тут можно использовать формулу Пушкина по отношению к его же «Кавказскому пленнику» – «местные краски верны». Автор предваряет свой рассказ замечанием, что историю борьбы и смерти Измаила ему поведал на Кавказе, где-то в горах «под камнем Росламбека», какой-то старик-чеченец («Про старину мне повесть рассказал»). Действие начинается в районе Пятигорья, куда из России возвращается Измаил. О нем становится известно, что был «отцом в Россию послан Измаил», что «четырнадцати лет оставил он края, где был воспитан и рожден» и еще то, что «служил в российском войске Измаил». Путника поражает пустынный вид края, где еще недавно в цветущих мирных аулах жили «черкесы». Причиной происшедшей перемены явилось нашествие опасного врага:

*Но что могло заставить их
Покинуть прах отцов своих
И добровольное изгнание
Искать среди пустынь чужих?
Гнев Магомета? Прорицанье?
О нет! Примчалась как-то весть,*



*Что к ним подходит враг опасной,
Неумолимый и ужасной,
Что всё громам его подвластно,
Что сил его нельзя и счесть...*

Скрывшись от русских в Аргунском ущелье, горцы, возглавляемые князем Росламбеком, наносят отсюда мстительные удары. Измаил появляется среди соплеменников в канун решительного выступления и, став их предводителем, вызывает зависть Росламбека. В повествование вплетается линия Зары, любимой Измаила. Переодевшись в мужское платье, она под именем юноши Селима повсюду сопровождает князя. Однажды ночью у костра Измаила ищет спасения русский офицер, его бывший соперник в любви к русской девушке; впоследствии в сражении на Оссаевском поле между ними происходит поединок: выстрелив из пистолета, офицер дает промах, а Измаил наносит ему смертельный удар шашки. Война длится два года; русские теснят горцев:

*Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор...*

В финале поэмы предательскую пулю в грудь Измаилу посылает Росламбек – «Жестокий брат, завистник вероломный!» Черкесы, пытаясь обмыть смертельную рану, обнаружили на груди князя крест и, приняв своего вожака за отступника мусульманской веры, осыпают его бранью:

*Гремучий ключ катился невдали.
К его струям черкесы принесли
Кровавый труп; расстегнут их рукою
Чекмень, пробитый пулей роковою;*



*И грудь обмыть они уже хотят...
Но почему их омрачился взгляд?
Чего они так явно ужаснулись?
Зачем, вскочив, так хладно отвергнулись?
Зачем? – какой-то локон золотой
(Конечно, талисман земли чужой),
Под грубую одежду измятой,
И белый крест на ленте полосатой
Блистали на груди у мертвеца!..
«– И кто бы отгадал? – Джяур проклятой!
Нет, ты не стоил лучшего конца;
Нет, мусульманин верный – Измаилу
Отступнику не выроет могилу!...»*

Поэма Лермонтова, разумеется, не хроника исторических событий и его Измаил не во всем похож на своего прототипа. Но выбор поэта здесь не случаен: романтические мотивы его ранних произведений требовали ярких образов и необычных обстоятельств. Незаурядная личность и причудливая судьба реального Измаила, стоявшего в центре многих важных событий на Пятигорье и в Кабарде, как нельзя лучше подходили для этой цели.

Князь Измаил Атажуков (иногда встречается написание Атажукин, в кабардинском звучании – пши Исмель Хатакшоко) происходил из знатного кабардинского рода. Год рождения Измаила неизвестен, предположения же биографов весьма расходятся в определении этой даты: называют и 1750 и 1771 год. В юности он был послан отцом в Россию, хотя последний никакими симпатиями к северным соседям никогда не отличался. Измаил, как полагают, был просто выдан русским в качестве аманата (то есть заложника), что являлось обычной практикой тех лет. Такими же аманатами были, например, и двоюродные братья Измаила – Темирбулат и Росламбек Мисостовы. В России Измаил получил светское и

военное образование, служил в Бугском казачьем полку и за отличия при штурме Очакова удостоился чина подполковника. В качестве одного из «депутатов и посланников народов кавказских» состоял в свите Г.А. Потёмкина, который лично ходатайствовал о нем перед Екатериной Второй: «Исмаил бей, из лутчей фамилии кабардинской, подполковник в службе Вашего Императорского Величества, ревностно и храбро служивший под Очаковым и штурме оного, желает оказать себя противу шведов, и его отправляя, всеподданнейше прошу о награждении его убранныю каменьями медалью».

За храбрость, проявленную при взятии Измаила, князь по представлению А.В. Суворова был награжден орденом святого Георгия 4-й степени, и его имя впоследствии было вырезано на одной из мраморных досок в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Когда в 1794 году Атажуков вернулся в Кабарду, там сложилась напряженная обстановка: притеснения со стороны военных властей вызывали протесты населения. Управляющий Кавказской областью И.В. Гудович счел за лучшее выслать отсюда в Екатеринославскую губернию Измаила и еще двух офицеров-кабардинцев, в том числе и его родного брата майора Адильгирея Атажукова. Адильгирей бежал из ссылки в Крым и, вернувшись оттуда в Кабарду, возглавил борьбу против русских. Измаил же предпочел обратиться с прошением к Павлу I, ответный рескрипт которого ничего в судьбе князя не изменил. И только с воцарением Александра I с Атажукова сняли опалу: он был произведен в полковники и получил разрешение вернуться на родину.

Известно, что он несколько раз обращался к властям по поводу кавказских дел. В 1804 году Атажу-



ковым была составлена «Записка о беспорядках на Кавказской линии и о способах прекратить оные», в которой утверждалось, что «...усмирить силою сих горских жителей никогда возможности не будет». Измаил же предлагал путь «добровольного покорения»: Россия должна была сначала привлечь на свою сторону кабардинский народ в качестве благого примера остальным. Одной из первоочередных мер он называл при этом возвращение кабардинцам земель, отрезанных у них с устройством Кавказской линии. Однако командующий на Кавказе генерал П.Д. Цицианов отозвался, что это предложение «превышает меру дерзости», а об авторе его высказался в том смысле, что «Измаил-бей, который, живя столько в С.-Петербурге и имея чин российского полковника, более для нас вреден, нежели полезен, и вообще почти можно заметить, что кто из кабардинцев побывает в России, а особливо получив какие-либо награждения, возвратится в Кабарду, то много теряет уважения от своих собратий, как и сей Измаил-бей, сколько в Кабарде ни сильна его фамилия, доселе не мог приобрести себе доверия от своих единоверцев».

Когда осенью того же 1804 года Измаил вернулся на родину, он оказался здесь в сложной ситуации, ещё более драматичной, чем герой лермонтовской поэмы. Покинув Кабарду почти двадцать лет назад, теперь он был не только чужой среди своих, но и среди чужих тоже не свой. Он чувствовал опасность со стороны враждебно настроенных к России кабардинских князей, в том числе – своего двоюродного брата Росламбека Мисостова. Известен документ – «Письмо кабардинских эфендий генерал-майору Дельпоцо», в котором мусульманское духовенство требовало выдачи Измаила для разбирательства в

шариатском суде. В то же время и местные военные власти не доверяли ему до конца, хотя Атажуков официально был направлен сюда для службы на Кавказской линии. Он был даже подвергнут аресту, а его кош близ Бештау уничтожен. Один из кавказских генералов, пристав при кабардинском народе И.П. Дельпоццо характеризует его в осуждающем смысле: «Владелец полковник Измаил Атажуков служил в армии и был послан вместе с тем в Екатеринбург; после того долго жил в Петербурге; пожалован кавалером ордена святого великомученика Георгия 4-го класса и брильянтовой медалью; говорит и пишет по-русски и по-французски и имеет жалованья 3000 рублей. Получивши столь много милостей, как бы надлежало мыслить о нём? Правда, что он живёт в Георгиевске, но в прочем всё напротив: он жену свою держит в Кабарде, сына родного, который имеет 10 лет отроду, отдал на воспитание одному своему узденю, молодому и весьма глупому человеку. Когда едет в Кабарду, снимает с себя крест, медаль и темляк: положит в карман.

Черный шелковый темляк с серебряными каймой и кистью был в то время обязательной принадлежностью офицерского холодного оружия. Тем более понятно и нежелание Атажукова, находясь среди соплеменников-мусульман, носить на груди знак отличия в виде креста. Вспомним, что и лермонтовский Измаил прятал свою награду под одеждой. «Белый крест на ленте полосатой», то есть эмалевый орден на черно-оранжевой георгиевской ленте, который черкесы ошибочно принимают за символ принадлежности христианству, на самом деле есть давняя боевая награда Измаила, «Георгий» 4-й степени.

В отличие от героя лермонтовской поэмы Измаил Атажуков никогда не переходил в стан противни-



ков России. Напротив, он не оставлял усилий, чтобы убедить своих соотечественников в необходимости прочного союза с северным соседом. Дальнейший ход истории подтвердил правоту Измаила, Россия установила свое безраздельное владычество на Кавказе. Иное дело, что имперские амбиции военных властей, требовавших от кабардинцев безусловного послушания и подкреплявших эти требования потоками пролитой крови, а с другой стороны и «воинственный разбой», который исповедовала значительная часть горской феодальной знати, – вели к тому, что грозное зарево Кавказской войны полыхало ещё несколько десятилетий, и в её бесконечных битвах, в череде прочих русских писателей, принимал участие и сам автор «Измаил-Бея».

Двоюродный брат Измаила – князь Рослаббек Мисостов также некоторое время жил в России, где содержался в качестве аманата. Подобно Измаилу Рослаббек состоял и среди горских «депутатов» при светлейшем князе Г.А. Потёмкине-Таврическом и дослужился до чина полковника. Однако дальнейшие его действия показали, что он вполне оправдывает эпитеты, которые сопровождают имя Рослаббека в лермонтовской поэме: лукавый, злобный, жестокий, вероломный. Несколько страниц измене Рослаббека посвятил в первом томе «Кавказской войны» В.А. Потто, где речь идет о весенней экспедиции 1804 года генерала Г.И. Глазенапа: «С самого начала похода в русском отряде был виден кабардинский князь Рослаббек Мисостов, считавшийся полковником в лейб-гвардии казачьем полку и принадлежавший к одной из лучших кабардинских фамилий. Вдруг, к общему изумлению, он скрылся из лагеря. Оказалось, что Рослаббек бежал за Кубань вместе с подвластными ему аулами, и что



мотивом к тому послужила канла – кровомщение за смерть родного племянника, убитого в одном из кабардинских набегов на Линию». За Рослаббеком отрядили в погоню егерский полк. У Каменного моста в верховьях Кубани произошло кровопролитное сражение. Егеря вынуждены были отступить и на переправе потеряли в реке артиллерийское орудие. Рослаббек неожиданно вступил в переговоры, изъявляя желание примириться и вновь служить русскому царю. Он обещал даже поднять из воды затонувшее орудие. На деле же все обернулось новой изменой и нападением из засады с большими потерями для русских. «Рослаббек, – заканчивает Потто, – остался в горах и с тех пор сделался одним из самых отчаянных и бешеных абреков».

Но опасная острота отношений Измаила и Рослаббека определялась не только их различным расположением к России. Современный биограф Измаила приводит сведения о документе – рапорте генерала П.А. Текелли генерал-фельдмаршалу Г.А. Потёмкину-Таврическому от 14 апреля 1788 года, в котором сообщалось «о серьезных разногласиях в роде Атажукиных по поводу раздела крепостных, что чуть было не привело к убийству детей Мисоста Боматовича Атажукина, а именно Атажуки Мисостовича и лермонтовского Рослаббека Мисостовича».

Давняя распря двух ветвей одного рода завершилась, в конце концов, кровавой развязкой. Вероятно, именно этот «раздел крови» имел в виду Якубович, когда писал Бестужеву из Сибири на Кавказ. Впрочем, беглое и довольно невнятное изложение этой истории Якубовичем не позволяет толковать его заметку однозначно, неясной остается даже ключевая фраза – «братоубийство князя Рослаббека Мисостова»: трудно понять, был ли убит Рослаббек братом или же



сам совершил подлое братоубийство, как об этом повествует Лермонтов в поэме. Лермонтовская версия (Росламбек – убийца Измаила) долгое время сомнений не вызывала. Так, известный советский лермонтовед С.А. Андреев-Кривич, не имея никаких документальных ее подтверждений, высказал, тем не менее, осторожное предположение о том, что «Лермонтов был окружен людьми, которые могли настолько хорошо знать обстоятельства жизни и деятельности Измаил-Бей, что они, эти люди, могли сообщить такие факты, которые не получили широкой огласки».

Лермонтов, разумеется, знал о своем герое несколько больше того, что мог рассказать ему известный «старик-чеченец». Со временем нашлись и факты, не получившие «широкой огласки», но совершенно противоположные догадкам Андреева-Кривича. Сегодня, основываясь на документальных данных, можно судить уже о том, насколько далеко от реальности увела поэта его фантазия. Глубокий знаток истории и этнографии Кавказа М.О. Косвен разыскал важное свидетельство, проливающее свет на обстоятельства гибели Росламбека. Это записка 1837 года полковника П.П. Чайковского, служившего в 1830-40 годах на Кавказе, а некоторое время и в Пятигорске, то есть вблизи всех происходивших событий: «Славный кабардинец Арслан-бек Мисостов, полковник нашей службы, с европейским образованием, осыпанный щедротами императора Александра благословенного и ласками кавказского начальства. Он ушёл за Кубань, привёл в сильное движение горцев и наносил ужас на русских своими удалыми набегами. Он застрелен своим родственником чрез подкуп от нас».

Более того, в книге Р.У. Туганова «Измаил-Бей» приводится ещё один документ, датируемый де-

кабрем 1813 года и не оставляющий уже никаких сомнений в насильственной смерти Рослаббека: «Его убили в генваре месяце 1812 года по приказу его родственника Измаила Бея и в его присутствии в самое то время, когда он был приглашён им на дружескую пирушку; сам Измаил вскоре после того умер в Георгиевске; они оба имели титул полковников в Российской службе».

После смерти Измаила его боевая награда, «Георгий» 4-й степени, была возвращена в капитул ордена. Как видим, Лермонтов довольно свободно обращался с «историческим материалом», имея в виду свои особые художественные цели. Защитником отечества от сильного и опасного врага он хотел видеть отважную и гордую натуру, не запятнанную себя низким коварством.

Следовал ли неотступно Лермонтов тем сведениям, которые у него имелись, или смело вносил изменения в реальную судьбу Измаила – в любом случае он смог добиться в своем творении высокого художественного эффекта. Вспомним запись Льва Толстого в дневнике, сделанную под впечатлением лермонтовской поэмы: «Я нашел начало Измаил-Бея весьма хорошим. Может быть, это показалось более потому, что я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно хорош этот край дикой, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и свобода».

«Как при Ермолове ходили в Чечню, в Аварию, к горам...»

В ходе Кавказской войны XIX века ничье имя не прозвучало так громко и не вспоминается сегодня так часто, как имя генерала Ермолова. Чеченские со-



бытия последних лет невольно выдвинули из исторического небытия циклопическую фигуру этого главного нашего покорителя Кавказа. Свой первый Георгиевский крест он получил по представлению самого Суворова. Во время Бородинского сражения он отбил у французов батарею Раевского и тем спас всю армию. Преданность, которую он внушал, была беспредельна. Лучшие русские поэты посвящали ему стихи. Упомянув имя Ермолова в эпилоге «Кавказского пленника», Пушкин еще много лет держал его в центре своего творческого внимания.

Лермонтов всегда питал к «проконсулу Кавказа» почтительное уважение. В то время, когда он писал «Героя», Ермолов давно пребывал в опале, и появление его имени на первых же страницах романа могло выглядеть вызывающе. Тем не менее, оно прозвучало здесь несколько раз. Дважды – в устах Максима Максимыча, благоговейно упомянувшего «Алексея Петровича», при котором он «получил два чина за дела против горцев». Бравый штабс-капитан, как старейший кавказец, не имел нужды пояснять попутчику, о каком именно Алексее Петровиче идет речь, и автор, дабы не оставлять в неведении своих читателей, вынес фамилию полководца в отдельное примечание.

Подобная форма именованья своего командира по имени-отчеству служила у русских солдат выражением их безоговорочной преданности, даже обожания по отношению к нему. Интересное наблюдение по этому поводу содержится в записках испанского дворянина Хуана Ван-Галена, несколько месяцев прослужившего офицером Отдельного Кавказского корпуса: «Едва солдаты заметили его на ближней возвышенности, как тотчас имя Алексея Петровича с неподдельным восхищением стало передаваться



из шеренги в шеренгу, и вскоре колонны были оповещены о приближении этого великого человека. У нас в Европе нет такого обыкновения и нет слов, которые способны были бы передать оценку воинских достоинств главнокомандующего, какая выражается русскими солдатами, когда они называют его крестильными именами без упоминания фамилии».

Два чина, полученных при Ермолове, – это тоже выражение для посвященных, совершенно особый знак отличия, ибо кавказский главком был предельно скуп на похвалы и награды. Второе, три страницы спустя, упоминание его имени нашим штабс-капитаном связано уже с другой чертой Ермолова – его чрезвычайной строгостью к нарушениям по службе. Отказ от любезно предложенного ему рома непьющий Максим Максимыч объясняет своему спутнику следующим образом: «Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! Чуть-чуть не отдал под суд...»

Насколько жесткой могла быть в подобном случае реакция главкома, открывают нам воспоминания кавказского наместника Н.Н. Муравьева, служившего здесь еще под командованием самого Ермолова: «На первых днях прибытия Алексея Петровича к лагерю на Сундже чеченцы вырезали несколько донских казаков, стоявших на пикете. С донскими казаками всегда такие вещи случаются, ибо нет войска оплошнее, ленивее, беспечнее и презрительнее их. Ермолов жестоко наказал остальных казаков плетьюми, потом выслал всех из кибитки, призвал к себе донского офицера, бывшего на посту. «Тебя плетьюми бить нельзя, – сказал он ему, – потому что ты офицер; так вот же тебе!» Ермолов схватил



его за чупрун одной рукой, а другой избил его по чем ни попало, потом сбил его с ног, потоптал и, выкинув из кибитки, кликнул адъютанта Лещенко, которому велел яму вырыть, дабы сего офицера живого в оную зарыть. Сысоев упросил Алексея Петровича, который бы верно сего не сделал, хотя уже и яму рыли. Офицера сего из службы за то выключили».

Но вернемся к страницам романа. Здесь мы обнаружим еще и рассуждения автора по поводу каменного ермоловского креста, установленного на Крестовой горе, высшей точке Военно-Грузинской дороги. Более того, описывая Пятигорск в повести «Княжна Мери», Лермонтов из множества водных лечебниц предпочел упомянуть только Ермоловские ванны. Вот строки из журнала Печорина: «В одиннадцать часов утра, – час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, – я шел мимо ее дома». Новенький, чистенький городок, каким мы видим Пятигорск в лермонтовском романе, многим обязан кавказскому главкому, прекрасно понимавшему значение этой лечебной базы для войск Отдельного Кавказского корпуса. Именно Ермолов положил начало продуманному и планомерному устройству курортной местности. В стихотворении, написанном здесь еще в 1820 году, Пушкин отметил присутствие на водах и «юных ратников на ранних костылях». Когда в 1826 году в городе началось строительство каменного здания Николаевских ванн, то под фундамент была заложена плита с высеченным на ней именем Ермолова. В Пятигорске и по сей день одно из лучших ваннных зданий носит название Ермоловских.

О прославленном полководце Лермонтов ностальгически вспомнил и в самом большом своем батальном стихотворении «Валерик»:

*Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалось и нам...*

Получив в начале 1841 года отпуск, поэт по дороге с Кавказа завез Ермолову частное письмо от его бывшего адъютанта П.Х. Граббе (в то время командовавшего войсками Кавказской линии). Вскоре по личным впечатлениям Лермонтов создает образ генерала – покорителя Кавказа в стихотворении «Спор»:

*От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Двигутся полки;
Веют белые султаны,
Как степной ковыль,
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамены,
В барабаны бьют;
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь как перед боем,
Фитили горят.
И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно-медленны, как тучи,
Прямо на восток.*



После пронзительных, щемящих, облитых кровью строк «Валерика» здесь тон у Лермонтова совсем другой: он если и не приветствует неотвратимого, «страшно-медленного», завораживающего движения неисчислимых русских полков на Кавказ, то, во всяком случае, не имеет сомнения ни относительно моральной оправданности этого нашествия, ни относительно его победоносного исхода. Ермолов здесь узнаваем, хотя и не назван по имени, но Ермолов или кто-то другой – разве у русских мало боевых генералов?

В очерке «Кавказец» Лермонтов также нашел повод упомянуть имя Ермолова. Речь здесь идет о кавказской бурке, «прославленной Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова». Замечание как будто не слишком весомое, но, как говорится, важен сам факт, а во-вторых, даже это беглое, как бы вскользь, упоминание носит принципиальный характер: бурка – несомненный предметный символ Кавказа, и на самом известном своем портрете Ермолов предстал перед современниками именно в бурке.

С именем Ермолова был связан и неосуществленный замысел Лермонтова – написать крупное произведение в прозе, составленное из двух или трех романов. В рецензии на второе издание «Героя нашего времени» (и, можно сказать, рецензии посмертной, так как Белинский выписал для нее из «Одесского вестника» первое печатное сообщение о гибели Лермонтова в Пятигорске) критик передал, со слов самого поэта, намерение последнего написать три романа из русской жизни:

«Лермонтов немного написал – бесконечно меньше того, сколько позволял ему его громадный талант. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, –



отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся “Последним из могикан”, продолжающейся “Путеводителем в Пустыне” и “Пионерами” и оканчивающейся “Степями”...»

О характере содержания этой «романической трилогии» судить предельно трудно, если не сказать – невозможно. Единственной подсказкой тут может служить уподобление ее серии романов Ф. Купера. Книги Джеймса Фенимора Купера (1789–1851) в России стали известны во французских и русских переводах с середины 1820-х годов. Наиболее популярен цикл его романов о Кожаном Чулке – Натти Бумпо. Здесь они перечислены согласно последовательности повествования: «Зверобой» (1841, русский перевод – 1848), «Последний из могикан» (1826, русский перевод – 1833), «Путеводитель в Пустыне» (1840, русский перевод – 1841; в дальнейшем известен под названием «Следопыт»), «Пионеры» (1823, русский перевод – 1832), «Степи» (1827, русский перевод – 1829; в дальнейшем известен под названием «Прерия»).

Для самого Белинского это имя значило очень много. Он был не только страстным читателем и почитателем Купера. Произведения американца



служили для него определенным эстетическим мериллом, и Белинский не раз упоминал его в ряду других, очень немногих, представителей «высшей художественной поэзии» – таких как Гомер, Шекспир, Байрон, Шиллер и Пушкин. «Живя в Пятигорске, – замечает критик в одном из своих писем с юга в 1837 году, – я перечел множество романов и между ними несколько Куперовых, из которых вполне понял стихии североамериканских обществ...»

Круг чтения Лермонтова также был невероятно широк. Но никаких замечаний о Купере он не оставил. О его интересе к американскому романисту мы можем судить только со слов Белинского. О задуманной Лермонтовым трилогии тот узнал, вероятнее всего, во время их встречи в апреле 1840 года в Ордонансгаузе, где Лермонтов находился под арестом за дуэль с де Барантом. Подробности этого свидания Белинский вскоре изложил в письме к В.П. Боткину, в котором среди прочего заметил следующее: «Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше В. Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целостности. Я давно так думал и еще первого человека встретил, думающего так же».

Об этой встрече поэта и критика вспоминает И.И. Панаев, передающий восхищенные слова Белинского: «Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом и – что удивило меня – даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!...»

Купер писал о наступлении европейской цивилизации на североамериканский континент, захвате

новых земель и борьбе белых с коренным населением – индейцами. То, что Белинский сравнивал замысел Лермонтова (если только сравнение не принадлежит самому поэту) именно с этой серией куперовских романов, позволяет нам сделать осторожное, но важное предположение. Для Лермонтова подобной ареной столкновения европейского прогресса с первобытной вольностью диких племен мог служить только Кавказ. В таком случае олицетворением грозной, всеподавляющей силы русских в этом крае оказался бы именно Ермолов. И все это в значительной мере подтверждается словами М.П. Глебова, приятеля Лермонтова и секунданта на его последней дуэли. Приводим его рассказ в передаче П.К. Мартыанова:

«Всю дорогу от Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряжений от него Глебов не слышал. Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это – сожаление, что он не мог получить увольнение от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. “Я выработал уже план, – говорил он Глебову, – двух романов: одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене, и другого из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране, и вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приниматься за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправляться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся!”»



В каком бы направлении ни развивался лермонтовский замысел, Ермолов в любом случае мог оказаться сквозным и, если не главным, то одним из самых значительных персонажей трилогии. Если говорить о Кавказе, то важнейшим событием здесь в век Екатерины был поход графа Зубова, в котором принимал участие и Ермолов. В царствование Александра Россия выдержала долгую и трудную борьбу с Наполеоном, Москва была сожжена, но русские войска дошли до Парижа. Тогда предполагалось, что Ермолов примет в командование наш оккупационный корпус, оставленный во Франции. Однако этого не случилось, и он, герой Бородина, оказался уже полновластным «проконсулом Кавказа». При Николае картина совершенно переменялась, и Ермолов был отсюда удален, но память о нем и его авторитет в кавказских войсках оставались непоколебимы. Вспомним, как приосанился лермонтовский Максим Максимыч, упомянув о своей службе «при Алексее Петровиче». Одна из самых внушительных фигур в нашей истории XIX века, Ермолов был бы достоин лучших страниц и нашей великой литературы, но судьба и тут отвернулась от него: выстрел дуэльного пистолета поставил безжалостную точку в так и не написанном романе.

С чувством горького сожаления Ермолов отозвался на известие о гибели Лермонтова: «Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!» И еще выразился в том смысле, что будь это в его времена, то он нашел бы случай спровадить Мартынова на верную смерть.

Получив в начале 1841 года кратковременный отпуск, Лермонтов по дороге с Кавказа завез Ермолову, пребывавшему в Москве, частное письмо от

его бывшего адъютанта П.Х. Граббе, командовавшего в то время войсками Кавказской линии. Это была единственная личная встреча поэта с прославленным генералом, имя которого Лермонтов привык слышать с детских лет.

Если в первых, еще не совершенных творениях юный поэт не нашел повода вспомнить о «проконсуле Кавказа», то на страницах его зрелых произведений имя Ермолова прозвучало уже неоднократно. Это и роман «Герой нашего времени», очерк «Кавказец», поэма «Мцыри», стихотворения «Валерик» и «Спор».

Все это хорошо известно, но в лермонтоведении существует одна загадка. Речь идет о стихотворении «Великий муж», созданном, как полагают исследователи, около 1837 года и, вполне вероятно, являющимся, как и знаменитое «Бородино», поэтическим откликом Лермонтова на 25-ю годовщину нашей главной национальной битвы.

*Великий муж! Здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды,
И не найдут среди людей.*

*Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услышав твое названье,
Твой сын душою закипит.*

*Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «он любил отчизну!»*

Загадка же заключается в том, что имени «великого мужа» до сих пор никто доподлинно не знает.



Автограф стихотворения сохранился не полностью: верхняя часть листа, на которой была написана начальная строфа и где, быть может, было названо имя героя, оказалась оторванной. Кем и когда это сделано, случайно или же из каких-то опасений – неведомо, и теперь остается только гадать, кого и что мог иметь в виду поэт.

Первым, по-видимому, свое мнение о «великом муже» высказал И.М. Болдаков, библиотекарь Императорской публичной библиотеки. В примечаниях ко второму тому «Сочинений» Лермонтова, вышедших в 1891 году, он назвал, с некоторым все же сомнением, имя французского поэта Андре Шенье. Этот молодой человек, сын гречанки и французского дипломата, при жизни прославился как острый публицист. Франция переживала тогда не лучшие времена, повсюду властвовал террор якобинцев. Задержанный случайно, Шенье уже не смог вырваться из цепких объятий кровавой диктатуры. Последние месяцы жизни он провел в парижской тюрьме Сен-Лазар и, заподозренный в связях с роялистами, был казнен в 1794 году, буквально за два дня до падения республиканского режима.

Только четверть века спустя после гибели Шенье его стихотворное наследие было собрано воедино и выпущено в свет. Первый же, посмертный, сборник принес поэту европейскую известность. У Пушкина есть стихотворение «Андрей Шенье». Лермонтов, разумеется, тоже был знаком с судьбой и творчеством французского собрата, потерявшего голову под ножом гильотины. Более того, испытывал заметное влияние и даже написал в юности стихотворение «Из Андрея Шенье». Но это не перевод, как можно подумать, и даже, кажется, о нем нельзя сказать, что написано «по мотивам». Здесь Лермон-

тов выразил всё абсолютно свое, а имя Шенье в заглавии поставил, что называется, для пущей важности. Обращаясь к возлюбленной, он говорит о своей вражде с обществом и предсказывает себе, страдальцу молодому, ужасный жребий: изгнание, клевету и безвременный конец.

Тут одно как-то не вяжется с другим: надуманные литературные вздохи стихотворения «Из Андрея Шенье» очень далеки от энергичного ритма и вдохновенных интонаций «Великого мужа». Так или иначе, догадку Болдакова никто не поддержал, о ней просто-напросто забыли, а в дальнейшем кандидата в «великие мужья» искали уже более патристично, среди своих.

В советское время предположение о личности лермонтовского героя высказал глубокий и тонкий знаток русской поэзии Борис Михайлович Эйхенбаум, считавший, что «по тексту стихотворения видно, что речь идет о человеке, который совершил какой-то нравственный подвиг, но не получил никакой награды, а, наоборот, был обвинен современниками в нелюбви к отечеству или в измене ему. При этом стихотворение явно обращено к живому, а не к умершему». Позднее автор статьи о «Великом муже» в «Лермонтовской энциклопедии» ничего к этой замечательной формуле добавить не смог и просто переписал ее своими словами, отметив, что «социальный пафос стихотворения совершенно ясен: это возмущение по поводу того, что выдающийся гражданский подвиг не встретил понимания у тех, в чьих интересах он был совершен».

Исходя из вышеизложенных соображений, Эйхенбаум предложил на роль «великого мужа» П.Я. Чаадаева. Но ни этот официально объявленный в России сумасшедшим автор «философического



письма», ни позже выдвинутый в герои стихотворения другими учеными М.Б. Барклай де Толли (какую отчизну, спрашивается, любил этот остзейский шотландец?) никого так и не устроили. Догадки множились, и число претендентов постепенно росло. Называли еще имена К.Ф. Рылеева, А.Н. Радищева, П.И. Пестеля, П.А. Катенина, Н.Н. Раевского, М.М. Сперанского, еще раз Чаадаева, Н.М. Карамзина и – А.П. Ермолова.

Упоминались, но как-то вскользь, Пушкин и Марлинский. Но и это не все. Список пополнил еще один, довольно странный в подобной компании персонаж – рядовой Тенгинского пехотного полка Архип Осипов. 22 марта 1840 года, когда Михайловское укрепление на Черноморском побережье после кровопролитного боя было захвачено горцами, этот герой взорвал пороховой погреб – пожертвовал собой, но и врагу нанес страшный урон. Но, первое, подвиг был совершен через несколько лет после того, как написано стихотворение. И, второе, даже если допустить, что ученые ошибаются с датировкой «Великого мужа», то Архипу Осипову все-таки не пришлось ожидать благодарного признания «поздних потомков»: повелением императора Николая его имя навечно внесли в списки полка, о чем было объявлено по всей армии. А во Владикавказе в честь рядового пехотинца был сооружен величественный монумент.

К сожалению, никто пока не попытался определить, так сказать, ранг «великого мужа», тот уровень общественного или государственного положения, который обеспечивал бы историческому лицу полное право именоваться подобным образом. Если же прислушаться к самому Лермонтову, то у него «муж рока» – это Наполеон, которому сопутствуют еще и такие эпитеты, как «герой» и «вождь». Разумеется,

Наполеон – это своего рода поэтический абсолют, но фигура искомого «мужа» должна быть, по меньшей мере, сопоставима с ним.

Имя Ермолова назвал тот, кто имел, как никто другой, возможность на протяжении долгого времени скрупулезно и квалифицированно осмыслить проблему «великого мужа», – выдающийся ученый, главный редактор Лермонтовской энциклопедии Виктор Андроникович Мануйлов. Если первоначально он настаивал на кандидатуре Барклая, то в одной из своих итоговых работ, в комментарии к роману «Герой нашего времени», он осторожно заметил: «Возможно, что стихотворение Лермонтова 1836 года «Великий муж! Здесь нет награды...» обращено к Ермолову, а не к П.Я. Чаадаеву или М.Б. Барклаю де Толли, как это считалось раньше. Имя Ермолова – единственное имя русского полководца, упомянутое в «Герое нашего времени» и в примыкающем к этому роману очерке Лермонтова «Кавказец» (1841)».

Добавим к этому, что не только на протяжении романа, но на протяжении всей жизни Лермонтов в своих произведениях никаких других наших полководцев, кроме Суворова и Ермолова, вообще не упоминал.

При всем том, что каждый из названных претендентов на пьедестал совершил свой собственный подвиг и навсегда вписал свое имя в нашу историю, такое их количество говорит в данном случае только об одном: содержание стихотворения не позволяет указать со степенью неоспоримой правоты на кого-то одного из них как на подлинного, то есть именно на лермонтовского «великого мужа». Выдвижение каждого из них имеет и свои разумные основания, и свои уязвимые места.



Если же пока отвлечься от лермонтовских строк и обратиться к близкому историческому и литературному контексту стихотворения, то из плотной череды претендентов на первый план сразу же выдвинется исполинская фигура Ермолова. И вот почему.

Во-первых, он вполне соответствует всем изложенным выше меркам: на момент написания стихотворения он был жив; по своим чинам и заслугам давно получил все права на ранг «великого мужа», отмеченного к тому же безусловной и безупречной воинской доблестью; свой «славный подвиг» он совершил на Бородинском поле; если угодно, то нравственным, а равно гражданским подвигом Ермолова можно считать его бескорыстное и самоотверженное служение отчизне; что касается до обвинений или непонимания современников, то тут следует вспомнить, как незаслуженно и оскорбительно полководец был изгнан со своего кавказского поприща и в дальнейшем обречен на десятилетия бездействия и опалы.

Более того, Ермолов – единственный из наших полководцев, кого современники сравнивали с французским императором. Пушкин, например, оценивал генерала как личность поистине исторического масштаба: в его письмах дважды встречается весьма характерное (хотя и косвенное) сопоставление Ермолова с Наполеоном. «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением», – сообщает Пушкин брату о своих летних впечатлениях 1820 года и тут же добавляет всего несколько строк спустя, что «эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих вой-

нах – и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии».

Так же и в черновом письме в апреле 1833 года, обращаясь к Ермолову, поэт замечает: «Собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло наконец описание Ваших Закавказских подвигов. До сих пор поход Наполеона затемняет и заглушает всё...»

Назовем еще выдающегося русского историка М.П. Погодина, хорошо знавшего Ермолова в его московский период, оставившего воспоминания о нем, собравшего и выпустившего в свет сначала в «Историческом вестнике», а потом и отдельным изданием объемистый том под названием «Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии». В пространном (более ста страниц!) очерке воспоминаний о генерале Погодин делится наблюдением: «В деревне обратился он к обыкновенным своим занятиям – читал книги о военном искусстве, и в особенности о любимом своем полководце Наполеоне... А между тем Паскевич пошел вперед, взял Эрзерум, Таврис, Ахалцых, проникнул далеко в Персию... А между тем Дибич вскоре перешел Балканы, занял Адрианополь. Что происходило в то время в душе Ермолова, то знает только он, то знал Суворов, в Кобрине читая итальянские газеты о победах молодого Бонапарте, то знал, разумеется, больше всех этот новый Прометей, прикованный к скале Святой Елены».

Прочитав эти строки, новейший исследователь Я.А. Гордин, автор двухтомной монографии о Ермолове, предлагает следующий комментарий: «В этих трех фразах роковое имя возникает трижды – Наполеон, Бонапарте, Прометей со Святой Елены. Погодин проявил незаурядное чутье – Ермолов субъективно и был одним из немногих реальных кандидатов в российские Наполеоны...»



Во-вторых, поэтическое обращение к личности великого человека у Лермонтова не могло, как нам кажется, быть однократным. Безусловный лидер таких обращений Джордж Байрон упомянут у Лермонтова 20 раз. Следующий за ним Наполеон – 16. Ермолов в этом смысле представлен заметно скромнее, он упомянут в произведениях Лермонтова семь раз (трижды – «Ермолов», дважды – «Алексей Петрович» и еще дважды – «генерал», в поэме «Мцыри» и стихотворении «Спор»). Зато все остальные из перечисленных претендентов не упомянуты вообще ни единого раза. Никто и не единого раза!

«Блистательную тризну» по своему герою свершил сам Лермонтов, прославив его имя в своем бесмертном романе, в очерке «Кавказец» и в самом большом своем батальном стихотворении «Валерик». Впечатляющий образ генерала нарисован в стихотворении «Спор». Не забудем и замысел трилогии Лермонтова из русской истории, где Ермолов стал бы, как можно предположить, одним из главных героев. Осуществись этот план – и Ермолов тогда, безусловно, далеко отодвинул бы с первых мест в частотном словаре Лермонтова и французского императора и английского поэта. О ком же еще, о каком вообще еще историческом лице Лермонтов отзывался с таким же преклонением, как о Ермолове? И кто тогда для него «великий муж», если не Ермолов?

Вернувшись же, в-третьих, к лермонтовским строкам, прочтем их вновь, а именно две последние строфы, содержащие, в сущности, предсказание смертной судьбы «великого мужа». Для поэта нет сомнений, что его герой навсегда останется в памяти «поздних потомков». По отношению к кому, как не к Ермолову, эти слова так провидчески оправдались? Имя Ермолова, наряду с именами очень немногих



наших великих полководцев – Суворова, Кутузова, Жукова – и по сей день произносится с благодарностью и благоговейным трепетом. И словно в ответ на последнюю строку лермонтовского шедевра – «он любил отчизну», никто другой не изрек таких простых и гордых слов как Ермолов: «Никогда неразлучно со мною чувство, что я Россиянин».

«Тут же, где отряд Вельяминова...»

Среди деятелей ермоловской эпохи на Кавказе более других внимания заслуживает Алексей Александрович Вельяминов – человек весьма примечательный не только по факту его семилетнего пребывания на посту начальника Кавказской линии. Он сыграл совершенно особую роль в судьбе Ставрополя, сумев однажды уберечь город от упразднения. Кроме того, он оказался причастен и к некоторым обстоятельствам в истории отечественной литературы, заслужив в высшей степени похвальные характеристики от трех русских поэтов – Александра Грибоедова, Александра Полежаева и Дениса Давыдова. Что касается Лермонтова, то имя генерала он упомянул в письме к бабушке из Пятигорска 18 июля 1837 года, разъясняя ей свои обстоятельства: «Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря, при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод не поеду в Грузию...»

По обыкновению своего времени Вельяминов еще ребенком был записан в лейб-гвардии Семеновский полк и в шестнадцать лет числился поручиком гвардейской артиллерии. Наполеоновские войны прошел от Аустерлица до Парижа, под Красным заслужил Георгиевский крест. Решительность



и отвага штабс-капитана тогда же обратили на него внимание Ермолова, добившегося назначения Вельяминова в 1816 году на пост начальника штаба Отдельного Грузинского корпуса. В путеводителе по Военно-историческому музею в Тифлисе приводится перечень боевых заслуг Вельяминова в период Кавказской войны:

«Друг и сослуживец А.П. Ермолова еще со времени наполеоновских войн, Вельяминов был при нем на Кавказе начальником корпусного штаба. Он обладал обширными сведениями, ясным умом и непреклонною волею. Мнения его о Кавказской войне и о способах борьбы с горцами замечательны по силе доводов и ясности изложения. В 1829 г. он писал, что Кавказ может быть покорен в течение шести лет, но что для этого нужно две лишние дивизии и 14 миллионов рублей ассигнациями. Насколько этот план был основателен, доказали позднейшие события, когда после многолетней, бесплодной борьбы пришлось обратиться к тому же проекту, но уже дать средства несравненно более тех, какие требовал Вельяминов. На Кавказе, оставаясь начальником штаба, он всегда в важнейших случаях командовал боевыми отрядами, и имя его гремело грозою по всему Закубанью, в Грузии и Имеретии. Он отличался неумолимою строгостью и вместе с тем справедливостью и великодушием. В персидскую войну Вельяминов был главным виновником победы под Елисаветполем в 1826 году и награжден орденом св. Георгия 3-й степени. С увольнением Ермолова он также покинул Кавказ и возвратился сюда в 1831 году в звании командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории, при нем начато устройство береговой Черноморской линии для прекращения сношений горских народов с тур-

ками. Горцы боялись и уважали его. Они сложили про него песню, слава в ней «генерал-плижера», как они называли Вельяминова по цвету его рыжих волос. Вельяминов умер в этой же должности в Ставрополе в 1838 году. Для сохранения о нем памяти в войсках 1-му линейному, бывшему Урупскому полку Кубанского казачьего войска повелено именоваться полком Вельяминова».

В свое время с Вельяминовым близко познакомился Грибоедов, служивший при Ермолове секретарем «по дипломатической части». В письме от 27-го ноября 1825 года из станицы Екатериноградской он сообщал Вильгельму Кюхельбекеру: «Еще несколько дней и, кажется, пушусь с Алексеем Петровичем в Чечню... Здесь многие, или лучше сказать, все о тебе вспоминают: Вельяминов, с которым я до сих пор слонялся по верхней Кабарде...»

В верхней Кабарде, то есть в районе ущелий Малки и Чегема, отряд Вельяминова преследовал партию горцев, совершивших набег на русские пределы. Эти события отразились в стихотворении Грибоедова «Хищники на Чегеме». В Екатериноградской он читал своим спутникам «Горе от ума», и, таким образом, генерал был одним из тех редких счастливых, кто услышал текст бессмертной комедии из уст автора. Отсюда же 7 декабря Грибоедов писал Степану Бегичеву о Вельяминове, что это «чрезвычайно неглупый человек, твердых правил, прекраснейших сведений etc... С этим я в нынешний проезд в короткое время сблизился более, чем прежде. Глаз на глаз, судьба завела меня с ним на Малку, и оттуда к разным укреплениям новой линии; всё вместе, и всё одни, я этому случаю благодарен за прекраснейшие открытие достойного человека. Что говорит об нем Якубович? Коли ругает, так врет...»



Вельяминов пытался облегчить участь разжалованного Александра Полежаева, отмечая в представлении, что тот «находился постоянно в стрелковых цепях и сражался с заметной храбростью и присутствием духа». По свидетельству Александра Бестужева, упоминавшего об этом в одном из своих писем с Кавказа, генерал Вельяминов брал Полежаева в поход «для того, чтобы вывести в люди, и исполнил это...» Полежаев был произведен в унтер-офицеры. Почти четыре года поэт провел в боях и походах в горах Чечни и Дагестана, в октябре 1831 года участвовал в штурме укрепленного чеченского аула Чир-Юрт и посвятил этому событию одноименную поэму. Стихотворный портрет Вельяминова на страницах «Чир-Юрта», запечатлевший генерала в ходе экспедиции, – явление уникальное для нашей литературы. Среди покорителей Кавказа мы можем вспомнить лишь графа В.А. Зубова, персидским победам которого Державин посвятил две оды, да еще имена П.Д. Цицианова, П.С. Котляревского и А.П. Ермолова, упомянутых Пушкиным в эпилоге «Кавказского пленника». Но ни «старик Державин», ни его гениальный преемник не были свидетелями воспетых ими военных событий. Прославляя наших полководцев, они совершали, в сущности, лишь акт поэтической риторики. Полежаев, единственный рядовой русской поэзии, прошел Кавказ с ружьем и солдатским ранцем за плечами, и ему первому, как потом Лермонтову и Льву Толстому, открылись ужасающие подробности войны.

Денис Давыдов, повоевавший в свое время в Закавказье, также приводит в одном из своих военно-исторических трудов выразительную характеристику генерала: «А.А. Вельяминов, имя которого займет, без сомнения, блестящую страницу в кавказских



военных летописях, и слишком рано похищенный смертью для пользы и благоденствия Кавказа и славы нашего оружия, обращал на себя справедливое внимание своими замечательными способностями, редкою самостоятельностью в характере, необыкновенно верным взглядом, обширными сведениями и умением превосходно излагать на бумаге свои мысли. Вельяминов, будучи еще штабс-капитаном 1-й гвардейской артиллерийской бригады, обратил на себя с 1811 года внимание Ермолова, при котором он состоял впоследствии в звании начальника штаба в течение почти тринадцати лет. Хотя характер его был совершенно противоположен характеру Ермолова, но эти две личности, отлично понимавшие друг друга, находились постоянно в самых дружеских между собою отношениях. Вельяминов, любивший и почитавший Ермолова как отца, приноравливался во время продолжительного своего при нем служения к его умеренному образу жизни. Сделавшись самостоятельным начальником, Вельяминов, любивший давать всему тому, что он ни предпринимал, огромные размеры, сделался крайне расточителен в отношении к собственному своему состоянию: так, например, во всем, что он ни покупал или заказывал, он брал за единицу дюжину. Нынешний государь отозвался о нем в следующих лестных для него словах: «С ним весьма приятно работать и последовать его мнению». Ермолов имел в нем и некоторых других генералах и штаб-офицерах превосходных сотрудников».

В закубанских походах Вельяминова принимал участие и Александр Бестужев, несколько раз упоминавший имя «этого достойного генерала» в своих письмах. Делясь впечатлениями об осенней экспедиции 1834 года, он сообщал Ксенофонту Полево-



му: «Вельяминов отличный генерал и отличный человек». Когда весной следующего года здоровье Бестужева резко ухудшилось и ему потребовалось отправиться для излечения на воды, он обратился именно к Вельяминову с просьбой о «сострадательном позволении на это путешествие». Вельяминов своей властью разрешил декабристу пребывание на водах в Пятигорске в июле и августе 1835 года.

В одном из своих писем имя генерала упомянул и Лермонтов. Их личное знакомство могло произойти в Ставрополе в начале мая 1837 года. Также, находясь здесь в октябре или декабре того же года, поэт мог побывать в доме командующего, открытым для всех офицеров корпуса.

Григорий Иванович Филипсон, впоследствии генерал-лейтенант и начальник правого фланга Кавказской линии, имел возможность на протяжении долгого времени наблюдать Вельяминова в мирной и боевой обстановке. В его записках представлен подробный и психологически достоверный портрет полководца:

«Алексей Александрович Вельяминов происходил из старинного дворянского рода, но не имел никаких аристократических притязаний. Это был человек далеко выдающийся из рядов толпы. Он принял меня с ледяною холодностью и, помнится, ровно ничего не сказал. Это был худощавый человек лет 50, рыжий, с тонкими губами и тонкими чертами лица.

На Кавказе он сделался известен, как начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса, во время командования А.П. Ермолова, которого он был верным другом и помощником. Они были на «ты» и называли друг друга Алешей. За Елисаветпольское сражение Вельяминов получил Георгия 3-й степени, очевидцы говорят, что он был главным виновником

победы, начав решительную атаку, даже против воли главного начальника, Паскевича. Командующим войсками Кавказской линии и Черномории и начальником Кавказской области он был назначен, кажется, в 1831 году. А.А. Вельяминов получил хорошее образование, а от природы был одарен замечательными умственными способностями. Склад его ума был оригинальный. Воображение играло у него очень невидную роль, все его мысли и заключения носили на себе видимый характер математических выводов. Поэтому, вероятно, и в отношениях к людям ему чужды были чувствительность и сострадание там, где он думал, что долг или польза службы требовали жертвы...

Я думаю, не было и нет другого, кто бы так хорошо знал Кавказ, как А.А. Вельяминов, я говорю Кавказ, чтобы одним словом выразить и местность, и племена, и главные лица с их отношениями, и, наконец, род войны, которая возможна в этом крае. Громадная память помогла Вельяминову удержать множество имен и фактов, а методический ум давал возможность одинаково осветить всю эту крайне разнообразную картину...

Чтобы кончить речь о Вельяминове, я должен выставить еще одну черту его характера. Он не боялся декабристов, которых много к нему в войска присылали. Он обращался с ними учтиво, ласково и не делал никакого различия между ними и офицерами. Многие бывали у него в солдатских шинелях, но в Ставрополе и в деревнях они носили гражданскую или черкесскую одежду, и никто не находил этого неправильным».

Слова Филипсона подтверждает декабрист Н.И. Лорер, переведенный из Сибири рядовым в кавказские войска. В своих записках он приводит



предостережение генерала, адресованное опальным лицам, находившимся в его подчинении: «Вельяминов не был педантом в мелочах и всегда оставался строг по службе, однако, при первом свидании с нами, он нам сказал: “Помните, господа, что на Кавказе есть много людей в черных и красных воротниках, которые следят за вами и за нами”».

Человек, чья воинская репутация рождалась на полях сражений, имел, видимо, основания недолгобливать жандармов и их тайных соглядатаев.

Декабрист В.С. Толстой, переведенный, подобно другим участникам восстания, из сибирской ссылки и прошедший, начиная от рядового, все этапы кавказской «выслуги», оставил в своих записках подробную характеристику Вельяминова, из которой приведем здесь несколько интересных строк:

«Как командующий войсками на Кавказской линии Вельяминов до того удачно действовал походами на левом фланге Кавказской линии, что восстание в этой стране потеряло весь свой угрожающий характер и все племена, прилегающие к нашим пределам, совершенно покорились и были обращены в охрану наших границ, так что оказалось возможным приступить к покорению племен закубанских и занимающих побережье Черного моря, постоянно подстрекаемых против России приплывающими агентами турецкими и английскими, посылаемыми Британским посольством в Константинополе.

Вельяминов владел в высшей степени искусством начальствовать и всем подчиненным, даже состоящим в равном с ним чине, внушал глубокое уважение и почтение. Солдаты не любили его, прозвав “четыреглазый”, вследствие того, что в походе он носил очки-консервы, но питали к нему неограниченное доверие, придающее им в боях неудержимую отвагу...



Во всех проектах Вельяминова военных действий постоянно выказываются широкие, гениальные взгляды на дело военного покорения Кавказа, дальновидность его, строгую логику, последовательность его выводов. С Петербургом, не имеющим понятия об особенностях края и всех затруднений горной войны, он не лукавил и правдиво выставлял всю нелепость его теоретических узких воззрений и тем внушал боязнь самому тогдашнему военному министру Чернышеву, в сущности наглому шарлатану».

Наконец, еще один автор, оставивший в своих записках пусть краткое, даже скупое, но, тем не менее, самое весомое замечание о нашем герое. Это сам Ермолов: «Нужнейшего мне для военной части взял я начальником корпусного штаба полковника Вельяминова, служившего прежде со мною в артиллерийской гвардейской бригаде, потом в Кракове и наконец в гренадерском корпусе в сем же звании. Офицер сей, хорошо учившийся, имел большие сведения и отличные способности».

Ермолов, как можем убедиться, не только высоко ценил военные достоинства своего начальника штаба, но не забывал беспокоиться о его служебной карьере. Забота его в данном случае простиралась до того, что он мог с личным письмом обратиться к императору Александру и, пусть и при соблюдении всей верноподданнической риторики, совершенно определенно высказать монарху свою неудовлетворенность тем, что Вельяминов вместо испрошенной для него награды был удостоен не столь весомого знака отличия. Вчитаемся в строки этого послания от 8 апреля 1919 года:

«По соизволению Вашего Императорского Величества, начальник штаба отдельного Грузинского корпуса, генерал-майор Вельяминов получил орден Св. Владимира 3-й степени.



Не имея счастья снискать внимания Вашего Императорского Величества, по всеподданнейшему моему представлению – подверг я достойного чиновника невыгодному мнению насчет его здесь служения. Не обращая внимания Вашего Императорского Величества на каждое действие подчиненных моих, не испрашиваю наград за каждую их заслугу; а потому милостивое воззрение на них справедливо.

В начальнике штаба отдельного Грузинского корпуса недостаточно обыкновенной деятельности, неудовлетворительны обыкновенные способности, и его, в два с половиною года служения здесь, я не потерпел бы в сем звании, если б он не был достойнее полученных им наград.

Государь! Не должен я перед Вами скрывать боязнь мою: подчиненные мои, потеряв надежду к ходатайству о них, ослабевают в надежде воззрения на труды их и тем лишают меня возможности исполнять с успехом лежащие на мне обязанности. Боязнь моя основательна, и смею ли пред государем, моим благодетелем, умолчать о пользе его?»

Не каждый, даже очень большой, начальник рискнул бы вот так выговаривать самому императору. Орден есть орден, но Владимира 3-й степени мог получить даже младший офицер, и подобная награда никак не соответствовала ни чину, ни должности Вельяминова. Несправедливость такого награждения была и так очевидна, и Ермолов мог бы промолчать. Но – не промолчал, а, что называется, нарывался. Александр же, проглотив заслуженный упрек, отвечал ему в том смысле, что сам знает, кого и как награждать. Вот строки его письма от 24 мая того же года:

«Алексей Петрович! Прочитав письмо ваше от 8-го апреля, о генерал-майоре Вельяминове, я дол-



жен вам сказать со всею откровенностью, что из уважения моего к вашим представлениям, я никого из рекомендованных не оставил без награды, но меру оной всегда оставляю по порядку в собственном моем усмотрении; что же касается до генерал-майора Вельяминова, то, не ослабляя к нему признательности, как к чиновнику достойному и способному, я почитаю награду, ему сделанную, достаточною, потому что он в недавнем времени получил настоящий чин. Пребываю вам благосклонный Александр».

В иностранных источниках, освещающих события Кавказской войны, утверждается, что Вельяминов, долгое время находившийся в тени исполинской фигуры Ермолова, на самом деле интеллектуально превосходил своего шефа и именно он являлся автором стратегического плана, избранного русским командованием для покорения горных твердынь. В этих книгах, написанных с явным антирусским акцентом, подобные суждения служат не столько тому, чтобы отдать должное военной прозорливости Вельяминова, сколько тому, чтобы принизить величественный образ кавказского главкома, которому поклонялось несколько поколений русских военных.

«История завоевания Кавказа была бы неполной, – писал о Вельяминове английский автор Джон Баддели, – если бы мы хотя бы вкратце не рассказали биографию этого замечательного человека, который в течение десяти лет был начальником штаба и, по его собственным словам, вторым «я» Ермолова. Русские военные писатели, даже апологеты Ермолова, признаются, что трудно, почти невозможно разграничить заслуги и достижения этих двух людей, настолько тесным было их сотрудничество. Однако можно с большой уверенностью сказать, что, хотя Ермолов был гораздо более сильной личностью и



великолепным командиром, Вельяминов превосходил его в способностях, образованности и военных знаниях. Будучи лишь на год моложе Ермолова, Вельяминов никогда не достиг и одной десятой части популярности или славы последнего. Тем не менее, он сделал столь же блистательную карьеру, а его заслуги в какой-то степени даже значительнее».

Англичанину вторит и наш современник Моше Гаммер, утверждая, что «система Ермолова» названа так ошибочно и совершенно несправедливо ему приписана. «Здесь, в Тифлисе, – сообщает этот автор, – аналитический ум и организаторский талант Вельяминова, видимо, внесли решающий вклад в успехи старшего товарища. Осадная стратегия военных операций на Кавказе и реорганизация Кавказского корпуса обычно связываются с именем Ермолова, но разрабатывалось то и другое, а может, и предложено было именно Вельяминовым».

Вельяминов, этот высокий военный профессионал всегда оставался непреклонным и жестоким исполнителем монарших устремлений на Кавказе, огнем и мечом приводя к покорности горские аулы. План покорения Кавказа, составленный Вельяминовым по предложению Николая I, вполне вписывался в контекст ермоловской стратегии «рубки леса», когда победу над горцами одержал не штык, а именно топор – как средство прокладки широких просек в дремучих чеченских лесах. Это обеспечивало доступ войск в самые удаленные и укрытые места обитания противника с последующим уничтожением последних, то есть разрушением аулов, сжиганием запасов сена и зерна, истреблением садов и вытаптыванием посевов. «Нужно наносить горцам самый существенный вред в необходимых средствах существования, – писал Вельяминов, – нужно направлять удары на те предметы, коих они не мо-



гут скрывать от войск наших... Уничтожение полей в продолжение нескольких лет сряду есть, по-моему, единственное средство достигнуть сей цели».

Вельяминову также приписывают слова, будто бы сказанные им Николаю: «Нашим внукам еще придется поработать на Кавказе; да и незачем дело у них отнимать: Кавказ хорошая военная школа». Так или иначе, но жизнь это горькое пророчество подтвердила. Имя генерала упомянул в своей знаменитой повести «Хаджи-Мурат» Лев Толстой, отметив, что «план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова».

Осенью 1837 года инспекторскую поездку по Кавказу совершил сам император. Положением дел Николай остался недоволен и вскоре сместил командира Отдельного Кавказского корпуса Г.В. Розена; его зятя, командира Эриванского карабинерного полка князя А.Л. Дадиани разжаловал в рядовые; начальник штаба корпуса В.Д. Вольховский подал в отставку. «Погром был общий», – заключает очевидец событий Филипсон. Вельяминов же, напротив, был особым отмечен государем и получил орден святого Александра Невского с алмазами.

Но генералу императорский круиз обошелся дорогой ценой. Сопровождая Николая, часть пути он вынужден был проделать верхом. «Вельяминов, с больными ногами, – вспоминал современник, – никогда не ездивший верхом иначе, как шагом, и вообще некрепкого здоровья, расстроил его совершенно... двое-трое суток крепился, по отъезде государя из Ставрополя заболел, промаялся до весны, а в апреле скончался».

В память о генерале одна из улиц Ставрополя получила название Вельяминовской, в свое время



и в Пятигорске существовал Вельяминовский проспект, его имя носило и одно из наших укреплений на Черноморском побережье Кавказа.

Неслучайно перед памятью Вельяминова благоговел товарищ Лермонтова по Юнкерской школе князь А.И. Барятинский, начинавший когда-то под командой генерала свой боевой путь на Кавказе. Он не только усвоил мысли этого хладнокровного воителя, но и придал им подлинно стратегический масштаб. Заняв пост наместника Кавказа, он за три года сумел сломить сопротивление горцев, пленить Шамиля и положить конец казавшейся уже бесконечной Кавказской войне.

«Пока русские будут говорить русским языком...»

На Кавказе Лермонтов задумал цикл повестей, связанных между собой общим героем. Большой крови Лермонтов еще не видел, и война в его романе проходит только приглушенным фоном. Мужские персонажи здесь в большинстве офицеры Кавказского корпуса. О Максиме Максимыче мы знаем, что служить он начал еще при Ермолове, получив при нём два чина за дела против горцев. Лет десять он стоял с ротою в Чечне, в крепости за Тереком, у Каменного Брода. С Грушницким главный герой успел побывать в экспедиции; в действующем отряде тот получил ранение пулей в ногу. В Пятигорске у источника Печорин замечает, что «несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные». Боевые действия не затрагивают, разумеется, района Горячих или Кислых вод, но дыхание близкой войны ощутимо и здесь: это и казаки на сторожевых вышках в степи и пикетах,



и часовые на валу кисловодской крепости. Ночная стычка Печорина с Грушницким и драгунским капитаном, получившим удар по голове кулаком, а потом и поднятая ужасная тревога с криками и ружейной пальбой – все это спровоцировало в городе толки о нападении черкесов. «...Многие, – иронически замечает в дневнике Печорин, – вероятно, остались в убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте». Вспомним, что и убитого на поединке Грушницкого условлено отнести «на счёт черкесов». Тема оружия то и дело мелькает на страницах «Героя», играя важную роль в ряде ключевых эпизодов, да и кончается все повествование рассуждением Максима Максимыча об особенностях черкесских винтовок и шашек.

Имея в виду современные читательские запросы, роман можно бы представить и как «криминальное чтиво»: всё-таки четыре убийства (Бэлы, ее отца – старого князя, Грушницкого и Вулича), ряд покушений (главного героя, например, сначала хотят утопить в Черном море, потом подло, то есть практически безоружного, застрелить на дуэли, а когда это не удается, Грушницкий грозит зарезать его ночью из-за угла, и, наконец, пуля пьяного казака в «Фаталисте» срывает ему с плеча эполет). Молодую женщину похищают и склоняют к сожительству, потом похищают вновь и убивают ударом кинжала. Еще контрабанда, кражи, подслушанные заговоры, погони... К тому же повествование построено так, что автор-рассказчик как будто проводит следствие: опрашивает очевидцев, раскапывает «компромат» в виде интимных записок героя, а при личной встрече с ним составляет его словесный портрет.

Тут следует вспомнить, что начинался роман когда-то с тифлисской главы. Во всяком случае,



сохранился листок, исписанный лермонтовской рукой, начинающийся словами «Я в Тифлисе» и содержащий план повести, действие которой протекает в различных местах грузинской столицы. Повествование ведется, как и в дневнике Печорина, от первого лица, а именно от лица служащего на Кавказе русского офицера. набросок этот, в двадцать пять строк, и есть, скорее всего, самый ранний творческий импульс к написанию «Героя нашего времени». Как бы там ни было, И.Л. Андроников, внимательно изучивший этот отрывок, пришел к выводу, «что из записи «Я в Тифлисе» родились сюжеты обеих повестей – и «Тамани» и «Фаталиста» – и что эта запись представляет собой самый первоначальный план записок Печорина».

Едва приметные отголоски этой задуманной, но не осуществленной Лермонтовым тифлисской главы сохранились в окончательном тексте романа. Максим Максимыч, завершая свой рассказ о Печорине, замечает, что месяца три спустя после гибели Бэлы тот был назначен в егерский полк и уехал из Чечни в Грузию. Встретив же, какое-то время спустя, своего старого приятеля во Владикавказе, Максим Максимыч опять-таки говорит ему, что думал найти его в Грузии, вновь соотнося какие-то оставшиеся неизвестными нам события с пребыванием Печорина в этом краю. Что именно там могло происходить, становится известно из лермонтовского наброска.

Русский офицер в поисках любовного приключения увязывается за грузинкой. Она обещает ему свою благосклонность, но требует за это вынести из ее дома труп. Герой бросает покойника в Куру, предварительно сняв с него кинжал. Потом ему делается дурно, его находят в беспомощности и относят на гауптвахту. Где находится дом грузинки, он забыл. Тогда



кинжал предъявляют оружейнику Геургу, который говорит, что делал его русскому офицеру. От денщика этого офицера узнают, что тот долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью, но дочь вышла замуж, а через неделю офицер пропал. Таким образом, история с загадочным мертвецом объяснилась, но опасные похождения нашего героя еще не окончены. Грузинка и ее муж выслеживают его. Ночью муж нападает на него и пытается сбросить с моста, но офицер опережает его в этом намерении. Как видим, и здесь в развитии сюжета главенствует детективный элемент: два убийства, покушение на убийство, сокрытие следов злодеяния, слежка, поиски места преступления, опрос свидетеля и даже вещественная улика, которая приводит к разгадке, кинжал убитого офицера, опознанный оружейным мастером.

На первых же страницах своего пятигорского дневника, набрасывая психологический абрис Грушницкого, Печорин предрекает уже и роковую развязку их отношений: «Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать». Дальнейшее развитие событий претворяет этот прогностический тезис в жизнь или, в данном случае лучше сказать, в смерть. Антагонизм героев по ходу сюжета достигает высшей, буквально экстремальной степени. «Нам на земле вдвоем нет места...» – говорит Грушницкий за мгновение до того, как с пулею в груди навсегда исчезнуть с уступа отвесной скалы. Дуэль (как действие) была для прозы тех времен ситуацией почти неизбежной, обойтись без нее в «Герое» Лермонтов не мог. Но поединок с Грушницким лишь частный случай той круговой конфронтации, которая и составляет сущность отношений Печорина с другими персонажами романа.



В «Тамани» он выдерживает опасную схватку с ундиной в лодке, когда ее сильный толчок едва не сбрасывает его в море. Действия противоборствующих сторон или, словами героя, «отчаянная борьба» достигает здесь «сверхъестественных усилий». Из удовольствия, как говорит Печорин, подчинять своей воле все, что его окружает, он затевает и свой притворный роман с Мери, легко переиграв в психологическом поединке наивную московскую княжну. Дикарка Бэла – пленница русского офицера и находится в русской крепости. Поступки Печорина тут более всего и напоминают правильную осаду. Согласно комментарию Максима Максимыча, «долго бился с нею Григорий Александрович». Потом, этот странный спор о предопределении с Вуличем, метафизический поединок, когда один из противников ставит на кон двадцать червонцев, а другой собственную жизнь. Разве что доктор Вернер не захвачен конфронтацией, но он – доверенное лицо героя, его секундант. Да Максим Максимыч, заведомо отдавший себя воле победителя: «Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться».

Враждебные отношения Печорина и Красинского в неоконченной «Княгине Лиговской» также, предположительно, должны были разрешиться дуэлью. В «Маскараде», «Казначейше» и «Штоссе» поединок ведется за карточным столом. О «Калашникове» за очевидностью ситуации можно, кажется, только упомянуть. Одна из самых впечатляющих сцен в поэме «Мцыри» – бой с барсом. Противники, человек и зверь, принадлежат разным мирам, но «упоение в бою» уравнивает их. Звериный статус барса несколькими штрихами легко дезавуирован («Он застонал, как человек...», «Он встретил смерть лицом к лицу...»). Мцыри в то же время осознает себя в схватке более зверем, чем человеком:



*Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я...*

В череде испытаний, посланных автором своему герою, бой с барсом – высшее, самое драматичное, хотя эпизод, кажется, и не предопределен логикой сюжета; это поединок в чистом виде, турнирный или, если угодно, даже ритуальный. Вся изложенная картина наводит на мысль уже о способе художественного мышления Лермонтова, коренящемся в свойствах его личности. Перескакивая через многочисленные признания современников о несносном, трудном, дурном характере поэта, напомним читателю лишь одно, принципиально важное, высказывание А.И. Герцена: «В отличие от Пушкина Лермонтов никогда не искал мира с обществом, в котором ему приходилось жить: он смертельно враждовал с ним – вплоть до дня своей гибели».

В частной жизни Лермонтов был столь же неуступчив. Современник передает рассказ Н.П. Колюбакина, кавказского знакомого Лермонтова (впоследствии генерала, а в то время молодого офицера; многие видят в нем прототип Грушницкого): «Колюбакин рассказывал, что их собралось однажды четверо, отпросившихся у Вельяминова недели на две в Георгиевск, они наняли немецкую фуру и ехали в ней при оказии, то есть среди небольшой колонны, периодически ходившей из отряда в Георгиевск и обратно. В числе четверых находился и Лермонтов. Он сумел со всеми тремя своими попутчиками до того перессориться на дороге и каждого из них так оскорбить, что все трое ему сделали вызов, он дол-



жен был наконец вылезть из фургона и шел пешком до тех пор, пока не приискали ему казаки верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске выбранные секунданты не нашли возможным допустить подобной дуэли: троих против одного, считая ее за смертоубийство, и не без труда уладили дело примирением, впрочем, очень холодным».

Знаменитый бретер Руфин Дорохов (его историю записал А.В. Дружинин) поведал, как при первом знакомстве с Лермонтовым дело у них тоже едва не дошло до дуэли: «На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно, – мне показалось, что Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьет и смотрит на меня насмешливо».

19 февраля 1840 года чиновник Петербургского цензурного комитета Петр Корсаков закончил чтение рукописи, представленной молодым гвардейским офицером. Вещица эта с несколько претенциозным названием была Петру Александровичу знакома и раньше: именно он цензуровал столичный журнал «Отечественные записки», где роман печатался по частям. Речь там шла о любовных похождениях одного кавказского офицера, не более того, и с политической стороны все обстояло вполне благонадежно. Вымарав проформы ради несколько строчек, где автор имел слишком смелое суждение о делах потусторонних, Корсаков сделал пометку: «Печатать позволяется» и отложил перо в сторону. Тревожно заныло, затрепетало чувствительное цензорское сердце. И – не обмануло. Выпущенное в свет сочинение в типографии Ильи Глазунова отпечатали быстро: в середине апреля первая тысяча экземпляров появилась на прилавках. А вскоре книга легла и на стол высочайшего цензора всей России – государя императора Николая Павловича...



Белинский, вспоминая пятигорское лето, в рецензии на роман заметил, что «бывшие там удивляются непостижимой верности, с какою обрисованы у г. Лермонтова даже малейшие подробности», и осторожно намекнул на военную ситуацию в регионе: «Тут не одни черкесы: тут и русские войска и посетители вод, без которых не полна физиономия Кавказа...» В оценке Лермонтова великий критик проделал довольно стремительную эволюцию. В одном из его писем той поры звучат еще снисходительно-одобрительные нотки: «Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь...» В том же 1840 году в своей пространной, даже огромной, статье о «Герое», равной по объему «Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисту» вместе взятым, Белинский, хотя и нашел отдельные «недостатки художественности», но уже пересказал роман полностью и, что называется, близко к тексту, а многие страницы выписал целиком и, более того, высказал сожаление, что размеры статьи не позволяют ему выписать еще больше. Спустя три года, уже после смерти поэта, в рецензии на третье издание «Героя» Белинский писал об этой книге, что «никто и ничто не помешает ее ходу и расходу – пока не разойдется она до последнего экземпляра; тогда она выйдет четвертым изданием, и так будет продолжаться до тех пор, пока русские будут говорить русским языком...»

Николай же усмотрел в романе только одно светлое пятно – характер Максима Мыксымыча. Вторую часть нашел «отвратительной, вполне достойной быть в моде». Сентенция, изложенная монархом в письме к императрице, прозвучала резко и раздраженно: «Люди и так слишком склонны становиться



ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать эти наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора...»

Проницательнее же всех из критиков оказался вдруг Фаддей Булгарин, в «Северной пчеле» сразу назвавший «Героя» лучшим романом на русском языке. Говорят, что злодея «подогрела» бабушка поэта, Е.А. Арсеньева, послав ему свеженький томик и пятьсот рублей ассигнациями в придачу.

«В полдневный жар в долине Дагестана...»

Имени этого человека в хрониках Кавказской войны всегда сопутствует эпитет «храбрый». Ранений у него было больше, чем наград. При штурме Варшавы, еще молодым офицером, он потерял глаз. На Кавказе получил пули в ногу, голову и в грудь навывлет. В Севастополе – две контузии и еще одну рану. Его наградили золотым оружием с надписью «За храбрость». Но более памятной, чем все ордена и награды, была для него маленькая серебряная медаль за Ахульго. Звали этого человека Мориц Христианович Шульц.

Путешествуя по Кавказу, знаменитый писатель Александр Дюма не упускал случая порасспросить кого-нибудь из бывалых кавказцев – с тем, чтобы заполучить еще одну невероятную историю для своих путевых записок. В Хасав-Юрте судьба свела его с молодым офицером – сыном генерала П.Х. Граббе, командовавшего в 1839 году штурмом «орлиного гнезда» Шамиля – крепости Ахульго.

По рассказам ветеранов, дополненным молодым Граббе, Дюма составил картину небывалого

сражения, разгоревшегося в день решительного приступа.

«Сей день, – пишет Дюма, – был днем кровавой сечи, какой ни орлы, ни коршуны, парившие над вершинами Кавказа, никогда не видывали. Противники буквально плавали в крови; лестницы, с помощью которых влезали на стены, были составлены из трупов. Не слышно было воинственной музыки для ободрения сражающихся, она умолкла. Хрипение умирающих заменяло ее».

Присутствие музыкантской команды в этой гигантской мясорубке, в которой обе стороны сражавшихся потеряли несколько тысяч человек, можно отнести к пылкой фантазии французского беллетриста, но в том, что при Ахульго состоялась одна из самых грандиозных битв Кавказской войны, сомневаться не приходится.

В бою принимал участие и тридцатитрехлетний штабс-капитан генерального штаба Мориц Христианович Шульц. Имя этого храброго, толкового офицера, дослужившегося потом и до генеральских погон, могло бы, пожалуй, затеряться в кавказских хрониках, если бы не одно особое обстоятельство, отметина судьбы: Шульц стал прототипом или, в данном случае позволительно сказать, протогероем лермонтовского «Сна».

Прежде чем поведать читателю этот драматический эпизод из его боевой судьбы, попробуем восстановить картину отчаянного штурма высокогорной твердыни Шамиля. Небольшая заметка об этих событиях содержится в воспоминаниях кавказского ветерана Г.И. Филипсона: «...В 1839 году предполагалось соединить два большие отряда под начальством генерала Граббе, взять Ахульго и занять аул Чиркей. Отряды действительно соединились под



Ахульго, но взять его оказалось гораздо труднее, чем думали. Впереди его была каменная башня Сурхаева, а к ней можно было подойти только по узкому гребню, между двумя обрывами. Сделано было несколько неудачных приступов, прежде чем решились разбить башню ядрами и гранатами. Войска делали человечески возможное, но они били лбом в каменную стену...»

В нашем распоряжении имеется также и такой подробный и достоверный источник как «Описание военных действий 1839 года в северном Дагестане», составленное полковником Милютиным. Напомню, что Дмитрий Алексеевич Милютин – товарищ Лермонтова по Московскому университетскому пансиону, человек блестяще одаренный и оставивший свой след в военной истории России. Двадцать лет он провёл на посту военного министра и окончил карьеру в звании генерал-фельдмаршала. А под Ахульго получил пулю в правое плечо и орден Святого Владимира. Блокада и осада Ахульго продолжались восемьдесят дней. Военные действия достигли на этот раз тех мест, замечает Милютин, «куда до этого времени еще никогда русское оружие не проникало; они сопряжены были с такими затруднениями естественными и с таким упорным сопротивлением со стороны неприятеля, какие прежде едва ли встречались...»

Что же представляло собой это горное гнездо? Ахульго – не один аул, а два. Старый и Новый, занимавшие вершины двух почти отвесных утесов, разделенных глубоким ущельем реки Ашильты. Несколько бревен, переброшенных над пропастью, служили единственным мостом, по которому сообщались между собой жители аулов. Оба скалистых утеса, огражденные кругом отвесными и каменистыми обрывами, образуют как бы полуостров,

оггибаемый с трех сторон рекою Койсу. Над Новым Ахульго высится, почти отвесно, остроконечная вершина, на которую можно было взобраться только поодиночке. Здесь горцами была возведена неприступная Сурхаева башня. «...Вся местность вокруг обоих Ахульго чрезвычайно сурова и дика, – пишет Милютин, – горы каменистые, бесплодные, как будто все в трещинах. Горные потоки во многих местах низвергаются в пропасти с отвесных уступов».

Шамиль собрал в Ахульго около четырех тысяч своих приверженцев, из которых более тысячи имели прекрасное вооружение. Человек сто самых отчаянных мюридов заперлись в Сурхаевой башне.

Силы русских состояли из нескольких батальонов регулярных кавказских полков, усиленных казаками и конной милицией. По горным перевалам к стенам Ахульго были доставлены три десятка артиллерийских орудий. Общая численность войск превышала десять тысяч человек. Руководил осадой генерал Граббе (в прошлом адъютант Ермолова), поклявшийся своим именем («граб» по-немецки значит «могила»), что возьмет Шамиля живым или мертвым. За голову имама было обещано сто червонцев.

Кольцо глухой блокады сомкнулось вокруг Ахульго 12 июня. По ночам саперы вели осадные работы, артиллерия без усталости беспокоила неприятеля, в передовых секретах были собраны лучшие стрелки.

Первые попытки штурма не увенчались успехом, а только принесли ощутимые потери. Вскоре Сурхаева башня была разрушена русскими ядрами. Атака, предпринятая 17 августа, заставила Шамиля выкинуть белый флаг, а потом и выдать аманатом (заложником) сына Джемалэддина.

Переговоры, на которые ушло несколько дней, не дали результата, и Граббе отдал приказ к реше-



тельному штурму. Описывая события этого дня, Милютин изменяет своему сухому и точному стилю. «Горцы, несмотря на неминуемую гибель, ни за что не хотели сдаваться и защищались с исступлением: женщины и дети, с камнями или кинжалами в руках, бросались на штыки или в отчаянии кидались в пропасть, на верную смерть, – восклицает военный историк. – Трудно изобразить все сцены этого ужасного, фантастического боя: матери своими собственными руками убивали детей, чтобы только не доставались они русским; целые семейства погибали под развалинами саклей. Некоторые из мюридов, изнемогая от ран, и тут еще хотели дорого продать свою жизнь: отдавая уже оружие, они коварно наносили смерть тому, кто хотел принять его. Неимоверных трудов стоило выгнать неприятеля из пещер, находящихся в отвесном обрыве над берегом Койсу. Приходилось спускать туда солдат на веревках. Не менее тягостно было для войск переносить смрад, наполнявший воздух, от множества мертвых тел...»

Ахульго пал. Над вершинами скалистых утесов развивались русские знамена. Граббе доносил в рапорте: «22 августа был днем развязки экспедиции против Шамиля; я считаю дело конченным, хотя бы... возмутитель и успел спастись. Нет более ему веры в горах; нет более для него пристанища ни на утесах, ни в ущельях; нигде не может он найти место недоступнее бывшего гнезда его Ахульго и приверженцев храбрейших тех, которые жертвовали собою за него. Партия его истреблена вконец...»

Но цели своей русские все же не добились: Шамилю с семьей и горсткой преданных мюридов удалось укрыться в пещере на берегу реки Койсу, а потом ночью совершить побег, пробившись с боем через русские посты. Он ушел, оставив в руках гяу-

ров старшего сына и потеряв во время прорыва жену Джавгарат. Ушел, растаял без следа, как пороховой дым среди скальных уступов.

Что касается Шульца, то под Ахульго он получил несколько пуль. В день последнего сражения, указывая путь штурмовой колонне, он был тяжело ранен в грудь навылет. В горячке боя о нем не сразу вспомнили, и он еще долго лежал под палящими лучами среди павших. В минуты, когда сознание возвращалось к нему, он вспоминал о любимой девушке, оставшейся в России.

Граббе полагал наградить героя следующим чином. Но царь Николай I собственноручно начертал резолюцию о производстве Шульца в полковники. Его перевезли в госпиталь в Темир-Хан-Шуру, потом он лечился на водах в Пятигорске и за границей.

Вернувшись на Кавказ, Шульц встретил Лермонтова и рассказал ему свою историю. Это было в Ставрополе или Пятигорске (здесь сведения расходятся) и, скорее всего, в 1840 году. Лермонтов, переведенный тогда из гвардии в Тенгинский пехотный полк, участвовал в экспедициях в Чечне и Дагестане под командой генералов Граббе и Галафеева, в памяти которых еще отчетливы были апокалиптические картины разрушенного боем Ахульго. О Шульце заставляет вспомнить строка лермонтовского «Завещания» («Скажи им, что навылет в грудь я пуль ранен, был...»), написанного в это же время.

Несколько позднее, в январе 1841 года, в Ставрополе, в доме Граббе с Лермонтовым познакомился инженер Андрей Иванович Дельви́г, передавший в своих воспоминаниях подробности тех дней, имеющие некоторое отношение и к битве при Ахульго. «За обедом всегда было довольно много лиц, – пи-



шет Дельвиг, – но в разговоре участвовали Граббе, муж и жена, Трескин, Лев Пушкин, бывший тогда майором, поэт Лермонтов, я и иногда еще кто-нибудь из гостей. Прочие все ели молча. Лермонтов и Пушкин называли этих молчаливых картинною галерею. Лермонтова я увидел в первый раз за обедом 6-го января. Он и Пушкин много острили и шутили с женою Граббе, женщиною небольшого ума и малообразованною. Пушкин говорил, что все великие сражения кончаются на «о», как то: Маренго, Ватерлоо, Ахульго и т.д. Я тут же познакомился с Лермонтовым и в продолжение моего пребывания в Ставрополе всего чаще виделся с ним и Пушкиным. Они бывали у меня, но с первого раза своими резкими манерами, не всегда приличными остротами и в особенности свою страсть к вину, не понравились жене моей. Пушкин пил не чай с ромом, а ром с несколькими ложечками чая, и видя, что я вовсе рома не пью, постоянно угощал меня кахетинским вином... Лермонтов и Пушкин пришли меня проводить. Первый уверял, что по казачьим землям можно ездить только штабс-офицерам или с крестом на шее, иначе подвергнешься неприятностям со стороны казаков, и потому убеждал меня мой петличный Анненский крест надеть на шею. Конечно, я его не послушался».

Сам Лермонтов в боях с горцами не получил даже царапины. Но видел вблизи и смерть, и кровь, буквально потоки крови – когда вода в горной реке становилась красной («мутная волна была тепла, была красна»). Граббе и другие командиры представляли его к наградам, в том числе и золотым оружием с надписью «За храбрость». Но ни в наградах, ни в любви Лермонтов не был так счастлив, как штабс-капитан Шульц...

Свою историю Шульц рассказывал много раз, прибавляя уже и ту замечательную подробность,

что Лермонтов использовал ее как поэтический сюжет. Возможно, время стирало в его памяти какие-то детали. Возможно, его слушатели добавляли потом что-то и от себя. Один из них, писатель А. Бежецкий передает, например, слова Лермонтова, сожалевшего, что он не попал в экспедицию под Ахульго. Более того, Бежецкий приводит большой (в сорок строк) и как бы первоначальный вариант стихотворения, сочиненного Лермонтовым по рассказу Шульца:

*В долине Кавказа, где скалы
Толпою теснятся кругом,
Лежал он с зияющей раной,
Насмерть пораженный врагом...*

Здесь, несомненно, слышны отголоски «Сна». Но написал это стихотворение кто-то другой, находясь, вероятно, под сильным впечатлением от лермонтовского шедевра.

Услышанную от Шульца историю пересказывали потом генералы Степанов и Девель, встречавшиеся с ним во время турецкой войны 1877–1878 гг.

Более известны воспоминания Шульца (тогда уже генерала) в пересказе Г.К. Градовского. Молодым офицером наш герой сделал предложение родителям любимой девушки, но получил отказ. Его сочли не слишком выгодным женихом. Но она обещала ждать. Шульц отправился на Кавказ – заслужить чины и награды. За Ахульго он получил Георгиевский крест. Возвращаясь из-за границы, в Дрездене, возле Рафаэлевой Мадонны чудесным образом встретился со своей возлюбленной. Потом, на Кавказе, рассказал об этом Лермонтову. «Рассказал, – продолжает Шульц, – и Лермонтов спрашивает меня:

– Скажите, что вы чувствовали, когда лежали среди убитых и раненых?



– Что я чувствовал? Я чувствовал, конечно, беспомощность, жажду под палящими лучами солнца; но в полузабытьи мысли мои часто неслись далеко от поля сражения, к той, ради которой я очутился на Кавказе... Помнит ли она меня, чувствует ли, в каком жалком положении очутился ее жених.

Лермонтов промолчал, но через несколько дней встречается меня и говорит:

– Благодарю вас за сюжет. Хотите прочесть?

И он прочел мне свое известное стихотворение:

«В полдневный жар в долине Дагестана...»

«Сон» – одно из последних стихотворений, созданных Лермонтовым. Его автограф находится в тетради, которая была у поэта на Кавказе в 1841 году. Возможно, Лермонтов написал его незадолго до роковой дуэли в Пятигорске. Но был ли здесь в это время Шульц? Ах, если бы это доподлинно знать...

«Сон» часто называют самым многозначительным и загадочным стихотворением Лермонтова. Д.С. Мережковский видел в нем «воспоминание будущего», то есть мистическое пророчество Лермонтовым своей собственной судьбы. В.С. Соловьев назвал его «сном в кубе», а В.В. Набоков – «тройным сном» и считал, что «витки этих пяти четверостиший сродни переплетению пяти рассказов, составивших роман «Герой нашего времени».

Но вернемся к нашему герою. До 1855 года он служил на Кавказе, в чине генерал-майора занимал пост коменданта Александропольской крепости. Это был, по словам современника, «весьма эксцентричный, но увлекательный и храбрый человек». Испросив отпуск якобы для лечения старых ран, он устремился в осажденный Севастополь, откуда привез новое ранение, две контузии и золотую саблю с бриллиантами и надписью «За храбрость». Потом

был комендантом крепости Динамюнде, участвовал (в возрасте 70 лет!) в русско-турецкой войне и окончил службу в чине генерала от кавалерии.

Приведем еще одно воспоминание о Шульце – генерала Девеля, встречавшегося с ним при штабе М.Т. Лорис-Меликова во время турецкой кампании:

«Как теперь его вижу, небольшого роста, тоненький, с седой бородою, в конно-артиллерийском сюртуке, с «Георгием» в петлице и «бриллиантовою» саблею сбоку, едущего в стороне от всех на небольшой светло-рыжей лошадке... Я подъехал к генералу Шульцу с целью обменяться событиями дня, и он вдруг меня спросил:

– Вы видели, как переносили раненого майора Гоппе?

На мой утвердительный ответ он возразил:

– Черт знает, как при переноске беспокоят раненого, и советую вам, если вас ранят, то лежите спокойно.

Я удивился и из уважения к старику-генералу не возражал.

– А на Ахульго, – продолжал он, – я был ранен в грудь навывлет и целую ночь пролежал среди убитых и этому только обязан, что остался жив, – кровь сама собой остановилась. В Пятигорске, где я лечился от ран, я рассказал Лермонтову про свою рану и посоветовал ему, так же как и вам, не позволять себя трогать, если он будет ранен в экспедиции против горцев. А через несколько дней он мне прочел свое чудное стихотворение, написанное им по поводу моего рассказа...»

В военных записках «Под Карсом», принадлежащих перу ветерана кавказских битв генерала П.Ф. Степанова, приводится еще один вариант истории Шульца, рассказанной им самим. Новых подроб-



ностей Степанов не сообщает, но называет Шульца спартанцем и восхищается тем, как этот «среднего роста, тщедушный старик, притом израненный, равнодушно и без ущерба здоровью, переносил все невзгоды походной жизни, тяготившей и молодых людей».

В 1964 году «Военно-исторический вестник», издаваемый в Париже Обществом ревнителей русской военной старины, посвятил М.Х. Шульцу небольшую статью. Интересно, что в этом же номере помещен и очерк Л.С. Пенькова «От Темир-Хан-Шуры до Ахульго». Автор посетил места бывших сражений в 1914 году и вот что увидел тогда на горных уступах:

«Напрасны были мои поиски обнаружить какие-либо остатки грозной твердыни Шамиля. Все было взорвано и уничтожено при взятии Ахульго... Вероятно, сам Шамиль, как трезвый реалист, вполне сознавал, что защита Ахульго была безнадежна. В течение нескольких недель 20 русских орудий поливали снарядами гору вдоль и поперек. При скученности защитников на небольшой площади им было невозможно устоять. Да, защитники Ахульго при штурмах оказывали безумную храбрость и геройство. Участники взятия Ахульго свидетельствовали, что даже женщины, переодевшись в мужское платье, становились с оружием в руках рядом с мужчинами на завалах...» Даже семьдесят пять лет спустя после штурма земля Ахульго была усеяна пулями и картечью...

За Ахульго Шульц получил в награду не только Георгиевский крест. Была установлена и серебряная медаль на георгиевской ленте – единственная, насколько нам известно, за всю шестидесятилетнюю историю Кавказской войны медаль, посвященная отдельному сражению. На одной ее стороне значилось: «За взятие штурмом Ахульго 22 авг. 1839 г.» Другую украшал вензель Николая I.

Не берусь судить, можно ли отнести к боевым наградам Шульца стихотворение Лермонтова. Если да, то эта награда, как и все остальные, была оплачена кровью.

Храбрец Шулец передавал слова Лермонтова о том, что он сам хотел бы пройти через испытания, выпавшие на долю нашего героя: «Какая жалость, что я не попал под Ахульго, это, говорят, была удивительная экспедиция... Ах, я желал бы все испытать. Конечно, я пережил бы, так же, как и вы, тяжелые минуты, но все-таки желал бы их испытать...»

Кто знает, какие бессмертные творенья мог оставить нам поэт, пройди он через адское пламя, полыхавшее на вершинах Дагестана. Но Ахульго – не Бородино, и дальнейшее зарево этой битвы теперь едва различимо в исторических потемках. Нерукотворным же памятником ее героям навсегда остался лермонтовский «Сон».

«У него георгиевский солдатский крестик...»

Скажем несколько слов и о русских наградах, связанных с событиями Кавказской войны, их не так много. Когда отгремели залпы Ахульго, прошло долгих двадцать лет, и только после падения Гуниба была учреждена в 1860 году еще одна медаль (серебряная и бронзовая). На лицевой стороне – вензель Александра II, на оборотной – надпись по окружности «За покорение Чечни и Дагестана», а в центре – даты: «в 1857, 1858, 1859». Война велась так долго, что теперь историки спорят, когда же именно она началась. А выбор дат для этой медали должен был, вероятно, подчеркнуть особую роль князя Барятинского, при котором русские добились решающих успехов. Участники боев получали, разумеется,



и другие награды: офицеры и генералы – ордена, а нижние чины – знак отличия военного ордена (солдатский Георгиевский крест). Цена этих наград была чрезвычайно высока. За годы кавказской службы Барятинский получил несколько ранений и собственной кровью оплатил ордена Александра Невского, Владимира 1-й степени и Георгия 2-й, Андрея Первозванного с мечами и золотую саблю с надписью «За храбрость».

В 1850 году цесаревич Александр (будущий император Александр II) побывал на местах сражений с горцами на Северном Кавказе. Обстоятельства сложились так, что 26 октября в Чечне на Рошнинской поляне его конвой столкнулся с отрядом мюридов. Цесаревич, оставив позади свиту, вместе с казаками участвовал в стычке и храбро держался под пулями чеченцев. Очевидец происшествия – кавказский наместник Воронцов представил его к награде орденом святого Георгия 4-й степени. Государь Николай Павлович это ходатайство удовлетворил и, не ожидая, пока наследник получит крест в установленном порядке, послал ему свой собственный.

Не у всех, впрочем, участников сражений наградные дела складывались столь удачно. Так, по представлению генерала Вельяминова, в котором отмечалось, что Полежаев «находился постоянно в стрелковых цепях и сражался с заметной храбростью и присутствием духа», поэт был произведен в унтер-офицеры, но в дальнейшем повышении ему отказали. Да еще за поэму «Эрпели», прочитанную в кругу офицеров, автор был удостоен своеобразной литературной премии: дивизионный командир генерал Розен 4-й презентовал ему 25 рублей.

Солдатский крестик не получил и опальный Александр Бестужев, хотя его шинель была изорва-

на пулями, а награду, по обычаю того времени, ему присудили сами солдаты. В ноябре 1832 года он писал об этом из Дербента брату Павлу: «В батальон прислано два Георгия; один, по избранию нижних чинов, ротных командиров и батальонного командира, присужден мне... я заслужил этот крест грудью, а не происками, и желаю его иметь поминкой Кавказа». Надежды декабриста на знак отличия не оправдались; согласно монаршей воле, о его боевых заслугах можно было только доносить, но к повышению не представлять.

У Лермонтова о наградах говорится мало. В повести «Княжна Мери» есть замечание о Грушницком: «У него георгиевский солдатский крестик». И в очерке «Кавказец», размышляя о превратностях кавказской службы, поэт сообщает о своем персонаже: «хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут». Сам Лермонтов боевых знаков отличия удостоен не был, хотя в наградных реляциях командиры не раз отмечали его самоотверженность и храбрость.

30 декабря 1840 года командир Отдельного Кавказского корпуса генерал от инфантерии Е.А. Головин направил рапорт военному министру А.И. Чернышеву, ходатайствуя о награждении отличившихся в валерикском сражении 11 июля. К рапорту был приложен список представленных к наградам офицеров, подписанный генерал-лейтенантом А.В. Галафеевым. Здесь же следовало и описание боевых отличий каждого, а напротив имени Лермонтова стояли слова: «Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника об ее успехах, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и



кустами, но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы». Поэт был представлен к ордену святого Станислава 3 степени. Поясним, что орден этот учрежден в Польше в 1765 году, позднее был включен в состав российских наград и имел три степени.

В испрашиваемой награде было отказано в силу означенной на этом же списке резолюции самого государя: «Высочайше повелено: Поручиков, Подпоручиков и Прапорщиков за сражения удостаивать к Монаршему благоволению, а к другим наградам представлять за особенно отличные подвиги». «Из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, – признавался поэт в письме из Петербурга кавказскому сослуживцу, – так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».

За успешные действия в осенней экспедиции 1840 года в Чечне Галафеев просил о переводе Лермонтова «в гвардию тем же чином с отданием старшинства» и в служебном рапорте весьма похвально отозвался о своем офицере: «В делах 29-го сентября и 3-го октября обратил на себя особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством, почему и поручена ему была команда охотников 10-го октября; когда раненый юнкер Дорохов был вынесен из фронта, я поручил его начальству команду, из охотников состоящую. Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов, везде первым подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы. 12-го октября на фуражиров-



ке за Шали, пользуясь плоскостью местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственной рукой хищников. 15 октября он с командой первый прошел шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела от опушки. При переправе через Аргун он действовал отлично против хищников и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес, оставив в руках наших два тела».

В письме к Алексею Лопухину Лермонтов назвал свою команду охотников чем-то вроде партизанского отряда. Судя по всему, он питал некоторые надежды на награду, в чем и признался другу: «...Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков, – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут...» Желанная награда открывала путь к монаршему прощению и отставке, о чем Лермонтов уже подумывал, мечтая целиком посвятить себя литературе. Но, видимо, оказанных отличий было мало...

За экспедицию в Малой Чечне в октябре-ноябре 1840 года, когда одно из сражений вновь разгорелось на берегах Валерика, полковник князь Д.Ф. Голицын представил Лермонтова к награде золотой саблей с надписью «За храбрость», подробно описав в рапорте его боевые заслуги: «Во всю экспедицию в Малой Чечне с 27-го октября по 6-е ноября поручик Лермонтов командовал охотниками, wybranными



из всей кавалерии, и командовал отлично во всех отношениях, всегда первый на коне и последний на отдыхе, этот храбрый и расторопный офицер неоднократно заслуживал одобрение высшего начальства; 27-го октября он первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии у них скота принимал деятельное участие, врываясь с командою в чащу леса и отличаясь в рукопашном бою с защищавшими уже более себя, нежели свою собственность, чеченцами; 28-го октября, при переходе через Гойтинский лес, он открыл первый завалы, которыми укрепился неприятель и, перейдя тинистую речку, вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшееся противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть хищников, не допуская их собрать своих убитых; по миновании дефиле поручик Лермонтов с командою был отряжен к отряду г. генерал-лейтенанта Галафеева, с которым следовал и 29-го числа, действуя всюду с отличною храбростью и знанием военного дела; 30-го октября при речке Валерике поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей, а остальная уничтожена. Отличная служба поручика Лермонтова и распорядительность во всех случаях достойны особенного внимания...»

Награждение золотым оружием считалось необыкновенно почетным, и обладатели этой вожденной боевой регалии очень ею дорожили. Однако и здесь судьба отвернулась от поэта, и представление полковника Голицына успеха не имело. Впоследствии имя Лермонтова еще раз было внесено в наградной список «за участие в экспедиции в Малой

Чечне с 27 октября по 6 ноября 1840 г.». Генерал Граббе испрашивал для него орден святого Владимира 4 степени с бантом. Орден учрежден в 1782 году, награждение начиналось с четвертой, низшей степени. Бант из орденской ленты, красной с черной каймой, означал награду за военные подвиги. Командир Отдельного Кавказского корпуса Головин представление, по-видимому, из осторожности понизил до ордена святого Станислава 3 степени. Просить меньше было уже нечего. Но и тут ничего не вышло: по прошествии нескольких месяцев, 30 июня 1841 года, дежурный генерал Главного штаба граф П.А. Клейнмихель уведомил из Петербурга Головина в том, что «Император... не изволил... изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую награду».

Государь мог в награде и не отказать. Казенные бумаги столь же неспешным порядком ушли бы назад, в Тифлис. И там, в штабе корпуса, их получили бы только осенью. Так что утешить поэта такая награда все равно не могла, к этому времени он был уже мертв и покоился в пятигорской земле.

Обошли награды и фейерверкера 20-й артиллерийской бригады Льва Толстого. Первый раз, когда он участвовал в походе, но формально еще не числился на военной службе. Второй – когда за упущение получил взыскание и во время награждения сидел под арестом. «То, что я не получил креста, очень огорчило меня, – заносит он в дневник. – Видно, нет мне счастья. А признаюсь, эта глупость очень утешила бы меня...» Был еще случай, когда по совету батарейного командира Толстой уступил Георгиевский крест старому солдату (тогда эта награда давала право на пожизненную пенсию в размере жалованья). В рассказе «Рубка леса» писатель приводит рассуждения офицеров о



сложившемся в России преувеличенном представлении («предании») о том, что «на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами». Позднее Толстой пришел к убеждению, что война с горцами намеренно затягивалась высшим командованием. В черновиках повести «Хаджи-Мурат» есть такая запись: «Успех горцев надо приписать тому, что русские баловались войной, поддерживали войну, убивали горцев и губили жизни своих солдат только затем, чтобы поддерживать практику убийства и иметь случаи раздавать и получать кресты и награды».

Менее известно, что свои награды были и у горцев. Шамиль ввел их в начале сороковых годов – в пору своего высшего могущества. Судя по арабским надписям, они именовались «орден» (нишан), «знак» (алямат) и даже «медаль». Выглядели эти ордена как круглая, чуть выпуклая бляха, реже имели форму полумесяца или близкую к треугольнику. Выполнялись только из серебра и отделялись чернью, а иногда и позолотой, могли иметь украшение в виде кисти.

Правом награждения обладал не только Шамиль, но и его наибы. Некоторые знаки имели маленькую тангру (клеймо) в виде полумесяца с именем «Шамиль», что говорило о награде, пожалованной самим имамом. Иногда можно прочесть и имя наиба, даровавшего знак. Часто на наградах изображалась шашка, реже пистолет или ружье, но самыми интересными были надписи – простые («это знак храброго», «обладатель – муж отважный») или повосточному афористичные («кто станет размышлять о последствиях, тот не проявит храбрости»). Высшей наградой служил знак, принадлежавший самому Шамилю, с надписью: «Единственный наместник (Мухаммеда), султан величайший и пер-

вый из возвеличенных эмир правоверных Шамиль, да продлит всевышний Аллах его государство». Этот орден, как и другие, является настоящим произведением ювелирного искусства.

«Ребенка пленного он вез...»

Не многие, думается, из современных русских читателей догадываются, что лермонтовский Мцыри, один из самых ярких и любимых персонажей отечественной классики, по национальности – чеченец! Написав когда-то в детстве, в подражание Пушкину, «Кавказского пленника», теперь Лермонтов ситуацию совершенно перевернул: пленником у него становится не русский, а горец. Мцыри, конечно, чеченец не этнический, а, можно сказать, литературный. Для Белинского он – «пленный мальчик черкес» (черкесами тогда часто называли всех горцев), у Шевырева – «чеченец, запертый в келью монаха», а в советской критике появилась уже и совершенно отвлеченная формула – «юноша-горец». В пространной статье, посвященной «Лермонтовской энциклопедией» поэме «Мцыри», одним из ключевых слов в толковании ее смысла является слово «родина». Но что же это за «родимая страна», «где люди вольны, как орлы», и в надежде вновь обрести которую герой совершает свой отчаянный побег из стен монастыря? Об этом в статье не сказано ничего.

Сам Лермонтов нигде в тексте поэмы о национальной принадлежности своего героя определенно не говорит, но по ряду деталей о ней можно все-таки судить. Вспомним сцену поединка с барсом и слова Мцыри: «Как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков...» Все это замечательно перекликается со строками «илли» – чеченской героической песни:



*Мы родились той ночью,
Когда щенилась волчица,
А имя нам дали утром
Под барса рев заревой...*

(Перевод Николая Тихонова).

Известно, что в поэме Лермонтова отразилась судьба выдающегося художника Петра Захаровича Захарова. По рождению Захаров – чеченец, его родной аул Дады-Юрт в наказание за набеги и в назидание всей остальной незамирной Чечне в 1819 году был уничтожен русскими войсками. Упоминание об этой операции имеется в записках А.П. Ермолова, в то время – командира Отдельного Кавказского корпуса. «В сем намерении, – повествует кавказский главком, – приказал я Войска Донского генерал-майору Сысоеву с небольшим отрядом войск, соединив всех казаков, которых по скорости собрать было возможно, окружить селение Дадан-юрт, лежащее на Тереке, предложить жителям оставить оное, и буде станут противиться, наказать оружием, никому не давая пощады. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением... Женщин и детей взято в плен до ста сорока, которых солдаты из сожаления пощадили как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования... Солдатам досталась добыча довольно богатая, ибо жители селения были главнейшие из разбойников, и без их участия, как ближайших к линии, почти ни одно воровство и грабеж не происходили; большая же часть имущества погибла в пламени...»

Облитого кровью ребенка, взятого из рук умирающей матери, солдаты доставили Ермолову, который захватил мальчика с собой в штаб-квартиру корпуса. Об этом потом в поэме «Мцыри» и упомянул Лермонтов:

*Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести...*

Первоначально автор избрал эпиграфом к поэме французское изречение: «On n'a qu'une seule patrie» (Родина бывает только одна), но впоследствии заменил его строкой из Библии.

Пленника Ермолов крестил и передал под присмотр казаку Захару Недоносову, откуда пошла и фамилия – Захаров. Когда ребенок подрос, его взял на воспитание двоюродный брат Ермолова – генерал Петр Николаевич Ермолов, командир 21-й пехотной дивизии. Обнаружив незаурядные способности, Захаров учился в Петербургской Академии художеств, завершив курс с серебряной медалью. Стал профессиональным живописцем, за портрет Ермолова, выполненный в 1843 году, был удостоен звания академика. На портрете Ермолов изображен как человек своей эпохи, а вернее, как человек и эпоха, то есть личность столь же грандиозная, как Кавказские горы за его спиной, а эпоха – столь же грозная, как черное грозное небо над ними.

Для исполнения портрета Захаров должен был перебраться из Петербурга в Москву, испросив предварительно согласия генерала. В письме к П.Н. Ермолову от 9 января 1842 года художник изложил свою просьбу: «Скажу Вам, что одному из молодых художников Академия задала программу, на золотую медаль, Алексей Петрович отбивает редут под Бородиным, и я желал бы, чтобы представить Академии для программы на Академика портрет Алексея Петровича, только надо узнать, согласен ли бу-



дет он оказать мне такую милость, если согласен, напишите мне...»

Согласие было дано, работа над полотном заняла более года. В августе 1843 года портрет был представлен художником на рассмотрение Совета Академии и, получив высокую оценку, поступил впоследствии в Императорский Русский музей.

В 1912 году в Петербурге, к столетнему юбилею Бородинской битвы, выпустил в свет свою «историческую монографию» Федор Уманец. Книга носила название «Проконсул Кавказа» и была украшена репродукцией портрета Ермолова кисти Захарова. В конце книги автор поместил короткую заметку «О его портрете», где приводил беглое и, по-видимому, первое в литературе описание этой живописной работы:

«На левой стороне портрета, внизу, читаем надпись: “П. Захаровъ из Чеченцевъ. 1843, 16 августа”. Следовательно, когда рисовал Захаров, Ермолову 66 лет, и он уже 16 лет в бездействии.

Темой несколько загадочного ландшафта, образующего фон портрета, по-видимому, служат горы, среди которых когда-то протекала деятельность Проконсула. В исполнении заметно желание художника все внимание сосредоточить на лице и позе. Мало заботы об аксессуарах...

Несомненно, в лице П.З. Захарова русская школа имела большую художественную силу, и можно только удивляться, почему он остался мало известным большой публике, а его биография – так тесно связанная с выдающимися людьми и событиями того времени и касающаяся нашего – остается неизвестной даже в общих чертах. Чеченец и ничего более».

Чеченец и ничего более. Эти недоуменные слова, венчающие и заметку, и всю книгу, вполне справедливы. Увы, мы ленивы и нелюбопытны. Должно



было пройти еще долгих полвека, прежде чем появилось сколько-нибудь подробное монографическое исследование, посвященное первому чеченскому художнику-академику. В 1963 году в городе Грозном вышла книга Н.Ш. Шабаньянца «Жизнь и творчество художника П.З. Захарова», содержащая уже более детальное описание захаровского шедевра:

«Портрет А.П. Ермолова – одно из самых значительных произведений П.З. Захарова, очень интересная по замыслу, сложная по композиции и блестящая по исполнению работа. Фон портрета – грозное, непокорное небо, гордые вершины Кавказа – и это создает тревожное настроение, как бы вводит нас в обстановку бурных лет Кавказской войны. А.П. Ермолов показан человеком сильной воли. Генерал, герой Отечественной войны 1812 года, изображен опирающимся на саблю, одетым в зеленый мундир с орденами и в синего цвета рейтузы. В этом портрете П.З. Захаров как бы собрал всю энергию своей темпераментной кисти, передав доступными ему живописными средствами правдивый образ генерала. Художник не исключает и приема тщательной детализировки (хотя бы в описании орденов), что требует большого умения и даже виртуозности.

Во всем облике старого боевого генерала-полководца, в крепкой его фигуре, в суровом лице, в его глубокой сосредоточенности раскрываются большая сила воли, мужество, ум, а также и жестокость.

Этим произведением художник показал свой профессиональный опыт, способность к созданию целостной композиции, тонкое чувство формы, умелое сочетание рисунка и колорита.

Внизу красными буквами он подписал: «П. Захаров – из чеченцев, 1843 года, 16 августа»».

Скажем еще об одном отрадном явлении. В 1976 году в городе Грозном вышел в свет скромный сбор-



ник «Академик живописи П.З. Захаров». Правда, при всем том, что авторы этого научного труда постарались с разных сторон осветить жизнь и творчество художника, портрету Ермолова уделено там всего несколько строк. Строк, несомненно, интересных и заслуживающих внимания, с обилием положительных и даже превосходных эпитетов и характеристик, но все же оставляющих впечатление чего-то не до конца ясного и недосказанного.

«В портретах П.З. Захарова, – постепенно подводит нас к своему главному тезису автор, – ощутима заметная разница с точки зрения традиций их исполнения. По ним можно судить о сложном, противоречивом характере его портретного творчества. Его рисунок строг, точен, почти ювелирен. Безупречна техника, которой живописец владеет в совершенстве. Ему присуща мягкая и тонкая разработка светотени... Наряду с композицией, казалось бы, именно рисунок во многом позволяет судить о самом существенном в методе П.З. Захарова: о его строгости и утонченной безупречности в следовании натуре. Но это не так. При ближайшем знакомстве с портретами кисти Захарова выясняется, что живопись его сложна по образному решению и замыслу».

Все это хорошо. Понятно, что Захаров – сложившийся, зрелый мастер. Он точен и строг, но одновременно – сложен и противоречив, что, впрочем, всегда свойственно гению в искусстве. И далее уже о главном – о портрете Ермолова, но коротко и неопределенно:

«Яркое тому доказательство – своеобразный по композиции и блестящий по технике и колористическому исполнению портрет А.П. Ермолова, который скорее можно отнести к произведениям драматизированного жанра, нежели просто портрета. Вернее, в



нем сочетаются черты того и другого жанра, что делает это произведение особым и примечательным».

Не только «особым и примечательным», это сказано слишком слабо. Портрет Ермолова – высшее художественное достижение Захарова, вершина его творчества. Портрет легендарного воителя, рождавшийся под его кистью, никак и не мог быть «просто портретом», ибо обстоятельства создания этого произведения исключительны. По одну сторону полотна находился воин, герой, вождь, еще недавно державший в своих железных руках судьбы народов Кавказа, по другую – творец-художник, горец, пленный чеченец, потерявший и свою родину, и всех близких, для которого жестокой «рукой судьбы» оказался тот, кто теперь стоял перед ним. И от кисти Захарова теперь всецело зависело то, в каком виде этот исторический персонаж предстанет на суд потомков.

Именно поэтому портрет Ермолова – не только художественное, но и нравственное достижение, свидетельствующее о высоком благородстве Захарова, художника и человека. В созданном им образе генерала нет ни попытки угодливо польстить всемогущему проконсулу Кавказа, ни мстительного желания поквитаться с ним за причиненные страдания. Есть только неумолимая правда искусства. Художник не только мастерски и предельно честно «следовал натуре», отразив во внешнем облике Ермолова черты его незаурядной личности, но и сумел наложить на эти черты печать полной драматизма судьбы опального полководца.

Задача, стоявшая перед Захаровым, и без того не простая, осложнялась еще и тем, что публике уже хорошо был известен портрет Ермолова работы английского художника Джорджа Доу, законченный в 1825 году и помещенный в Военной галерее Зим-



него дворца. Это прекрасный парадный поясной портрет и, очевидно, лучший из всей подборки военных портретов, изображавших героев 12-го года. Здесь художник умело использовал все выигрышные особенности и детали. На портрете полководец повернут к зрителю боком, взят даже немного со спины. Его строгий медальный профиль особенно выразителен в солнечном свете, на фоне темных туч, покрывающих небо. Разворот фигуры генерала, его стремительный орлиный взор, резкая игра света и тени – все это делает работу Доу особенно впечатляющей и динамичной.

Известен и поколенный вариант этого портрета, где Ермолов изображен в косматой бурке, накинутой на правое плечо. Левой рукой генерал опирается на рукоять сабли. На заднем плане видна череда сверкающих горных вершин. Впоследствии с этого портрета были выполнены две гравюры – Теодора Райта и Ивана Пожалостина, широко разошедшиеся по России. Вероятно, об этом портрете вспомнил Пушкин, рассказывая о личной встрече с пребывающим в отставке проконсулом Кавказа: «С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом».

Захаров же, нисколько не уступив своему английскому собрату в искусстве живописи, намного превзошел его как мастер психологического портрета. Да, некоторые детали, запечатленные на полотне, заставляют вспомнить работу Доу. Горный ландшафт за



спиной генерала; его левая рука точно так же опирается на рукоять сабли; темное небо точно так же оттеняет львиную гриву теперь уже белых, седых волос полководца. Но, как ни странно, именно эти сходные детали только подчеркивают принципиальное различие, существующее между двумя портретами.

Наш художник имел перед Доу то неоспоримое преимущество, что глубины создаваемого образа мог достичь (и, несомненно, достиг!), прежде всего, за счет собственных, накопленных в течение жизни, представлений о личности Ермолова. На полотне он сумел передать внушительный облик генерала, отразив в нем всю мощь его исполинской и властной природы. Суровое, хмурое лицо повернуто к зрителю. Тяжелый, подавляющий взгляд; выдержать долго такой взгляд невозможно, и, может быть, поэтому он направлен не прямо на зрителя, а чуть в сторону. В выражении лица генерала читается оттенок недовольства, неудовлетворенности или даже горечи. В то время, когда создавался портрет, Ермолов давно находился не у дел и был лишен реальной власти. Но у Захарова он по-прежнему полон сил и несгибаемой воли, по-прежнему неуступчив и упрям.

Вместе с тем, художник сумел обозначить в чертах Ермолова его высокий статус государственного и военного деятеля, статус «великого мужа», каким полководец предстает не только на своих портретах, но и на страницах русской литературы, в произведениях В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Заметим также, что у последнего упоминание имени Ермолова перекликается, как правило, с темой Чечни: «Как при Ермолове ходили в Чечню, в Аварию, к горам...» И, пожалуй, трудно подобрать лучшую, чем этот портрет кисти Захарова, иллюстрацию к строкам лермонтовского стихотворения «Спор».



Считаем не лишним привести выдержку из книги известного литературоведа Э.Э. Найдича «Этюды о Лермонтове» с метким наблюдением о том, как в портрете Ермолова символически отразилось пересечение трех судеб: самого художника, изображенного им героя и – автора поэмы «Мцыри»:

«Блестящий талант сделал его лучшим портретистом после Карла Брюллова. В 1834 году Захаров написал портрет Лермонтова. К 1838 году относятся портреты писателя А.Н. Муравьева, выполненные почти одновременно Захаровым и Лермонтовым. Сведения о судьбе Захарова, ставшие известными поэту, дали толчок творческому воображению Лермонтова. Любопытно, что строка «он был, казалось, лет шести» соответствует возрасту Захарова, родившегося в 1816 году и привезенного в Тифлис Ермоловым, когда ему было шесть лет. Захаров умер от туберкулеза в 1846 году, на тридцатом году жизни.

За три года до смерти он написал портрет А.П. Ермолова на фоне Кавказских гор; справа виднеется Мцхетский храм, а вдали горные хребты – родина художника. За эту картину Захаров получил звание академика. Поэма Лермонтова оказалась для Захарова сильнее реальности. Изображение главнокомандующего на фоне Мцхетского храма – не случайность. Это дань памяти автору «Мцыри»».

Психологическая достоверность и творческое совершенство, с какими выполнен портрет Ермолова, вполне подтверждают слова современника о Захарове, что «Брюллов считал его лучшим после себя портретистом». Портрет «проконсула Кавказа» – произведение впечатляющей художественной силы – получил успех в обществе, и с него было выполнено несколько литографий. Образ Ермолова, запечатленный Захаровым на полотне более полутора веков



тому назад, востребован и в наши дни. Рельефные черты полководца, взятые именно с этого портрета, отчеканены ныне на медали Ермолова, учрежденной Институтом политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, и на одной из памятных монет, выпущенных к двухсотлетию победы России в Отечественной войне 1812 года.

Считают, что Петр Захаров был знаком и с Лермонтовым и даже написал его прекрасный портрет в мундире лейб-гвардии Гусарского полка. Именно об этом портрете вспоминал дальний родственник и приятель поэта Михаил Николаевич Лонгинов, историк литературы, библиограф и мемуарист. Приведем отрывок из его воспоминаний, интересный во многих отношениях:

«Публике долго был известен один только портрет Лермонтова, где он изображен в черкеске с шашкой. Я первый заявил о несходстве и безобразии этого портрета, о чем говорила и г-жа Хвостова. Господин Глазунов, так старательно издававший сочинения Лермонтова в последние годы, стал заботиться о приискании лучшего и достал у князя В.А. Меньшикова (служившего прежде тоже в лейб-гусарах), портрет Лермонтова, впрочем также неудовлетворительный, изображавший его в гусарском сюртуке с эполетами. Тогда я указал г. Глазунову на поколенный, в натуральную величину, портрет Лермонтова, писанный масляными красками, сохранившийся в саратовском имении А.А. Столыпина Нееловке, где я его и видел. Тут Лермонтов изображен в лейб-гусарском вицмундире и накинутой поверх его шинели, с треугольною шляпой в руках. Г.Глазунов приложил гравюру его к иллюстрированному изданию «Песни о купце Калашникове». Это лучший из известных мне портретов Лермонтова; хотя он на



нем и очень польщен, но ближе всех прочих передает общее выражение его физиономии (в хорошие его минуты), особенно его глаза, взгляд которых имел действительно нечто чарующее, «fascinant», как говорится по-французски, несмотря на то что лицо поэта было очень некрасиво».

Этот отрывок требует некоторых пояснений. Хотя имя художника здесь не названо, но впоследствии Лонгинов этот недостаток исправил и внес необходимое уточнение: «Нам случалось уже указывать в печати на существование оригинала этой гравюры, изображающей Лермонтова в вицмундире лейб-гвардии гусарского полка, драпированном шинелью. Мы видели этот оригинал в Саратовской губернии в селе Нееловка, у владельца его, покойного Афанасия Алексеевича Столыпина, родного брата бабки Лермонтова Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Оригинал писан масляными красками в натуральную величину худ. Захаровым, а гравюра выполнена в Лейпциге со снятой с него г. Муренко фотографии...»

Добавим, что упомянутая гравюра была изготовлена специально для первого отдельного выпуска «Песни про купца Калашникова», осуществленной издательской фирмой Глазуновых в 1865 году. На титуле прекрасно отпечатанной книги значилось, что она выходит «с 12 рисунками г. Шарлеманя и с новым портретом Лермонтова, гравированным в Лейпциге». Несколько более подробные сведения об этом портрете поэта приводит его товарищ по Юнкерской школе Александр Меринский: «В учебных и литературных занятиях, занятиях по фрунтовой части и манежной езде, иногда в шалостях и школьничестве – так прошли незаметно для Лермонтова два года в юнкерской школе. В конце 1834 года он был произведен в корнеты. Через несколько

дней по производству он уже щеголял в офицерской форме. Бабушка его Е.А. Арсеньева поручила тогда же одному из художников снять с Лермонтова портрет. Портрет этот, который я видел, был нарисован масляными красками в натуральную величину, по пояс. Лермонтов на портрете изображен в вицмундире (форма того времени) гвардейских гусар, в корнетских эполетах; в руках треугольная шляпа с белым султаном, какие тогда носили кавалеристы, и с накинутой на левое плечо шинелью с бобровым воротником. На портрете этом, хотя Лермонтов был немного польщен, но выражение глаз и тюрнюра его схвачены были верно».

Позднее по фотографии, сделанной с этого портрета, фирмой Брокгауза в Лейпциге и была выполнена гравюра, которая с первым отдельным изданием лермонтовской «Песни про купца Калашникова» распространилась по России и стала известна читающей публике. В особом же послесловии от издателя сообщалось следующее: «К настоящему изданию мы прилагаем новый портрет М.Ю. Лермонтова, отличающийся особенным сходством, как утверждают лица, близко знавшие покойного поэта. Портрет этот гравирован в Лейпциге, у Брокгауза, с фотографического снимка, сообщенного нам из Саратова А.С. Муренко. Подлинник, с которого была сделана фотография, писан для родственника Лермонтова г. Столыпина художником Захаровым, вскоре после выхода М.Ю. из юнкерской школы». В собрании лермонтовского музея в Пятигорске есть несколько экземпляров этой книги, но только в редких из них сохранился, по счастью, гравированный портрет поэта. Оригинал портрета хранится ныне в Институте русской литературы в Петербурге.

Кисти Захарова принадлежит и портрет А.Н. Муравьева, выполненный в 1838 году. Андрей Ни-



колаевич Муравьев – поэт, историк, автор книг по религиозным вопросам, петербургский знакомый Лермонтова. Сохранилась статья самого Муравьева об истории этого портрета, составленная им в 1870 году. «В 1838 г., – сообщает автор, – мне пришло на мысль написать портрет для моего родителя, жившего в Москве, уже в болезненном положении, так как он давно желал его иметь. Мне рекомендовали одного весьма искусного художника, академика Захарова, кроме своего таланта замечательного тем, что он был родом черкес, ребенком захваченный в плен, в одном разоренном ауле Кавказа, и сделался художником, по своему собственному расположению к живописи. Я проводил тогда лето на Крестовском острове, в великолепной усадьбе княгини Белосельской...

Очень долго писался мой портрет, потому что живописец жил на противоположном острове Петровском, с которым не было еще иного сообщения как лодкою, а Захаров не мог часто меня посещать и притом хотел тщательно написать портрет. Случилось однажды, что после его занятий я вздумал проводить его на Петровский...»

Осенью портрет был закончен и отвезен в Москву, «к великой радости старика-отца». После смерти Муравьева-старшего полотно могло затеряться, но благодаря счастливой случайности через много лет вернулось, наконец, к законному владельцу, на нем изображенному. Этот несомненный захаровский портретный шедевр хранится ныне в Государственном Эрмитаже.

По-видимому, во внешности Андрея Муравьева таилась какая-то особая притягательная сила: его портрет маслом написал и Лермонтов! В 1830-е годы они часто встречались в Царском Селе. Муравьев оставил воспоминания о поэте, в основном о событиях, связанных с его арестом за стихи на смерть

Пушкина. «Лермонтов просиживал у меня по целым вечерам; – сообщает Муравьев, – живая и остроумная его беседа была увлекательна... Часто читал мне молодой гусар свои стихи, в которых отзывались пылкие страсти юношеского возраста... Ссылка его на Кавказ наделала много шуму; на него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения». Именно в доме Муравьева, засмотревшись на пальмовую ветвь, Лермонтов написал стихотворение «Ветка Палестины». Летом 1839 года поэт прочитал ему же только что оконченную поэму «Мцыри». «Мне случилось однажды в Царском Селе уловить лучшую минуту его вдохновения, – вспоминал впоследствии Муравьев. – В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» – спросил я. «Сядьте и слушайте» – сказал он и в ту же минуту в порыве восторга прочел мне от начала до конца всю свою великолепную поэму «Мцыри» (послушник по-грузински), которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера. Внимая ему, и сам я пришел в невольный восторг: так живо выхватил он из ребр Кавказа одну из его разительных сцен и облек ее в живые образы пред очарованным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления. Много раз впоследствии перечитывал я его «Мцыри», но уже не та была свежесть красок, как при первом одушевленном чтении самого поэта».

Захваченный необычайным миром лермонтовской поэмы, с ее упругим ритмом и стремительной сменой картин, Муравьев, увы, просто не успел тогда



постичь, что послушник Мцыри – это и есть тот самый пленный мальчик (только не черкес, а чеченец), а потом искусный художник, которого он сам хорошо знал и однажды провожал на Петровский остров...

В 1843 году, то есть в год получения звания академика, в полном расцвете таланта Захаров написал «Воинственный автопортрет в бурке с ружьем», изобразив себя в традиционном одеянии кавказских горцев и с зачехленным ружьем за плечами. «Задумчивое лицо, глубокие темные глаза с грустным пронизательным взглядом психологически верно передают глубину горя человека, оторванного от родины, – отмечает исследователь творчества Захарова Н.Ш. Шабаньянц. – Художник отлично пишет кавказскую бурку и папаху, столь распространенные среди горцев. Непринужденная композиция, с несколько легким полуповоротом фигуры подчеркивает своеобразие портрета. Несмотря на то, что художник с самых ранних лет жил в русской семье, он никогда не забывал о своем народе и до конца жизни оставался верен ему».

Перед схваткой с барсом Мцыри испытывает «жажду борьбы и крови», причем испытывает неожиданно для себя, ибо прежде, говорит он, «рука судьбы вела меня иным путем». Чеченец, ставший русским художником, – это судьба, и рукой судьбы тут послужил сам Ермолов; может быть – не слишком доброй рукой, так как аул Дады-Юрт был уничтожен именно по его приказу. Вспомним, что портрет генерала художник подписал так, как и обычно это делал: «П. Захаров, из чеченцев». С трех лет не слышавший родной речи, выросший в русской семье и воспитанный в лоне русской культуры, он упорно выводил всякий раз на законченном полотне: чеченец. Родина бывает только одна.



Изображая «тревоги дикие войны», Лермонтов умел увидеть происходящее и глазами тех, с кем судьба свела его в непримиримой схватке. Старик-чеченец, поведавший ему историю Измаил-Бей, абрек Казбич и пленный юноша Мцыри – эта череда лермонтовских персонажей-чеченцев говорит о его глубоком интересе к народу, находящемуся в смертельной вражде с его собственной родиной. В образе Мцыри нашел выражение мир идей и чувств самого Лермонтова, и в самых горьких и одновременно самых главных словах поэмы – «Я мало жил и жил в плену...» – отчетливо слышен собственный голос поэта.

«Кто посещал вершины диких гор...»

Если легкое пушкинское перо впервые в нашей словесности как бы очертило контуры горы Бештау, то лучшая глава в его литературной истории написана М.Ю. Лермонтовым. Он девять раз в своих текстах упоминает название горы – четырежды в «Измаил-Бее», трижды – на страницах поэмы «Аул Бастунджи» и еще два раза – в «Герое нашего времени», причем у Лермонтова во всех случаях присутствует только его краткая форма – Бешту, почерпнутая, видимо, из посвящения к «Кавказскому пленнику» Пушкина.

В поэме «Измаил-Бей» Лермонтов впервые указал границы того уголка в северных предгорьях Кавказа, где отныне будет происходить действие многих его произведений, – «Где за Машуком день встает, А за крутым Бешту садится...» Здесь же, «Между Железной и Змеиной» горами пролег одинокий путь гордого Измаила. Путника поражает пустынный вид края, где еще недавно цвели родные аулы, Лишь горы, как прежде, «как бы остатки пирамид», высоко поднимаются к небу:



*...И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугает чудной вышиной.*

К строкам «Измаил-Бея», где упомянуты Машук и Бештау, юный поэт сделал примечание: «Две главные горы». Также и названия гор Железной и Змеиной удостоились его особого примечания: «Две горы, находящиеся рядом с Бешту». Но в поэтическом воображении Лермонтова «крутой Бешту» не только главная примета местности. Это «суровый» и «задумчивый» властелин родной земли, «пятиглавый царь», обозревающий окрестные просторы. На страницах «Измаил-Бея» поэт изображает борьбу горцев против русского владычества на Кавказе. Под натиском русских войск черкесы вынуждены покинуть родной край, но в их сознании Бешту остается несокрушимым символом вольности:

*Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя. –
«В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы»,
Так думал каждый; и Бешту
Теперь их мысли понимает,
На русских злобно он взирает,
Иль облаками одевает
Вершин кудрявых красоту.*

На склонах нашей горы раскинулся и лермонтовский аул Бастунджи, развалины которого поэт мог видеть в детстве. Сюжет одноименной поэмы берет начало именно здесь, в обозначенных теми же естественными ориентирами пределах – «между

Машуком и Бешту». Пейзаж вечернего Пятигорья поражает реальной точностью деталей, увиденных здесь и надолго оставшихся в зрительной памяти юного поэта:

*...Было поздно. На долину
Туман ложился, как прозрачный дым;
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою, густым
Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту.*

И еще раз Лермонтов упомянул название горы, рисуя закатный час в наших предгорьях:

*...День угас;
Лишь бледный луч из-за Бешту крутого
Едва светил прощальною струей
На бледный лик черкешенки молодой.*

Автор знаменитого «Героя» несколько раз изображал гору на своих рисунках, лучший из которых, выполненный вместе с Григорием Гагариным, служит прекрасной иллюстрацией к стихотворению «Валерик». Всем знакомы и строки из журнала Печорина: «Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синее, как «последняя туча рассеянной бури»; на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка...» В романе Лермонтов упомянул название горы еще раз, когда во время верховой прогулки за городом Печорин окидывает взор живописный ландшафт предгорий: «Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы». Справедливо предположить, что



заезжий офицер, впервые попавший на Воды, едва ли мог знать названия всех окрестных вершин. Это не Печорин, а сам автор романа, с детских лет влюбленный в Кавказ, еще раз отдал дань признания краю, где «Подъезжая к небу величаво, Гора из-за горы глядит...»

Побывал ли Лермонтов на вершине Бештау? Прямых свидетельств тому не имеется, однако по ряду обстоятельств высказать уверенное предположение по этому поводу вполне возможно. Хорошо известно, что поэт всегда любил окинуть взглядом окрестность с какой-либо высокой точки. «Любил я с колокольни иль с горы... теряться взором», – признавался он, и это созерцательное пристрастие многократно отразилось в его произведениях, будь то стихи или проза, где приводятся подробные и точные в деталях круговые пейзажные описания. Вспомним, например, его ученическое сочинение «Панорама Москвы», там наблюдательным пунктом для автора служит кремлевская колокольня Ивана Великого высотой почти в восемьдесят метров. «Какое блаженство, – восклицает юный автор, – разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир – с высоты!»

Описание Пятигорска в повести «Княжна Мери» начинается с обозначения точки обзора, имеющей по отношению к описываемой местности также абсолютную высоту: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука...» Далее следует полная панорама города и его окрестностей, ближних и дальних; взгляд автора устремляется последовательно на запад, север, восток, захватывая также и южное направление, где «на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком



и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом...» Прогуливаясь по городу, Печорин попутно отмечает и одну из лучших здесь видовых площадок, хорошо знакомую самому Лермонтову еще с детских лет: «На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус...»

В стихотворных произведениях стремление увидеть описываемый ландшафт сверху выливается у Лермонтова в устойчивый композиционный прием и иногда достигает уже космической высоты. В стихотворении «Родина» он охватывает взглядом и «лесов безбрежных колыханье» и разливы рек, «подобные морям». Свой высотный полет лермонтовский Демон совершает «над вершинами Кавказа», откуда ему различимо и то, как вечными снегами сиял Казбек, «как грань алмаза», и то, как «глубоко внизу чернея... Вился излучистый Дарьял». В стихотворении «Спор» Лермонтов видит происходящее с какой-то очень высокой точки, несопоставимой даже с высотой спорящих Казбека и «Елбруса», охватывая взором чуть ли не полмира от Урала до Нила. Все эти картины, недоступные человеческому взгляду во времена Лермонтова, заставляют поражаться его столь пронизательному воображению, опиравшемуся все же, сколь можем судить, на вполне реальные визуальные впечатления. Так, во время кавказских странствий 1837 года поэт преодолел одну из высших точек Военно-Грузинской дороги – Крестовый перевал. «Лазил на снеговую гору (Крестовая), на самый верх, что не совсем легко; – писал он с дороги Святославу Раевскому, – оттуда видна половина Грузии как на блюдечке...» Половина Грузии – это, разумеется, невольное преувеличение человека, впервые захваченного неповторимой панорамой, представшей ему в самых



недрах кавказских гор. Ранее в этих же местах и Пушкин ощутил себя вознесенным столь высоко, что мог сказать: «Кавказ подо мною...»

В повести «Бэла» Лермонтов посвящает про- странный пассаж описанию чувств человека, пре- бывающего «высоко над миром». Речь здесь идет о преодолении самого высотного, трудного и опас- ного в то время участка Военно-Грузинской доро- ги – Гуд-горы, расположенной в центральной части Главного Кавказского хребта. Нигде и никогда за всю свою прежнюю жизнь Лермонтов еще не на- ходился на подобной высоте, и эта резкая новизна впечатлений порождает в его творческом сознании естественное стремление запечатлеть в словах все увиденное и испытанное здесь. При этом его худо- жественный интерес направлен не столько к обзор- у и описанию открывшихся взгляду живописных картин (таких описаний в повести вполне доста- точно), сколько к выражению того, что происходит в эти минуты в нем самом. Повествуя о подробно- стях этой «дороги на небо», то есть о вещах доволь- но прозаических, будь то пятерка худых кляч, за-пряженных в повозки, или камни, которые нашим путникам приходилось подкладывать под колеса, автор успевает отметить и свое физиологическое состояние, связанное с пребыванием на большой высоте («было больно дышать», «кровь поминутно прилиwała в голову»), и передает, наконец, охва-тившее его чувство высотной эйфории – совершен-но особое состояние души, полной необъяснимой отрады и первозданной детской чистоты. Кульми-нация движения вверх, то есть достижение высшей точки пути, совпадает у Лермонтова с достижением высоты душевной: «Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по изви-



листой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно прилиwała в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: – чувство детское, не спору, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: всё приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять».

Несомненное стремление подняться «на самый верх» рождали в душе Лермонтова и вершины Пятигорья. «Ежедневно брожу по горам, – писал он из Пятигорска Марии Лопухиной, – и уж от этого одного укрепил себе ноги; хожу постоянно: ни жара, ни дождь меня не останавливают...» В ранних стихотворных произведениях Лермонтова можно обнаружить строки, если и не подтверждающие вполне определенно его присутствие непосредственно на вершинах наших гор, то, во всяком случае, передающие впечатления человека, побывавших на них: «Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!...» («Синие горы Кавказа, приветствую вас!»). В другом случае Лермонтов вполне достоверно рисует картину вечернего Пятигорья, открывшуюся его взору с горной вершины:



*Кто посещал вершины диких гор
В тот свежий час, когда садится день,
На западе светило видит взор
И на востоке близкой ночи тень,
Внизу туман, уступы и кусты,
Кругом все горы чудной высоты,
Как после бури облака, стоят
И странные верхи в лучах горят.*

(«1831-го июня 11 дня»).

Посетить «вершины диких гор» юный поэт мог только в районе Пятигорья, где высшей, заветной целью человека подобных устремлений всегда служила вершина Бештау. Приведем строки из посвящения к поэме «Аул Бастунджи», где автор, обращаясь к Кавказу, восклицает:

*Твоих вершин зубчатые хребты
Меня носили в царстве урагана,
И принимал меня лелея ты
В объятия из синего тумана.
И я глядел в восторге с высоты,
И подо мной как остов великана,
В степи обросший мохом и травой,
Лежали горы грудой вековой.*

Единственный обзорный пункт Пятигорья, откуда окружающие горы («кругом все горы») можно увидеть сверху («подо мной»), лежащими внизу «грудой вековой», да к тому же испытать пьянящее чувство высоты – это вершина горы Бештау, вознесенная над остальными на добрые несколько сот метров.

Наконец, еще один пример – строфа из посвящения к поэме «Демон», также построенная как воспоминание о детских впечатлениях на Кавказе:

*Еще ребенком робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы,*

*Увитые туманными чалмами,
Как головы поклонников Аллы.
Там ветер машет вольными крылами,
Там ночевать слетаются орлы;
Я в гости к ним летал мечтой послушной
И сердцем был товарищ их воздушный.*

В пределах Бештаугорского лесного массива находится и место, где произошел роковой поединок поэта с Николаем Мартыновым. С 1915 года оно отмечено обелиском из светлого песчаника работы известного русского скульптора Б.М. Микешина. Скажем еще, что Бештау послужил и укреплению оборонной мощи нашей страны: долгие годы в глубоких недрах горы добывали фосфат урана, причем первооткрыватели этого опасного стратегического минерала присвоили ему удивительно поэтичное название – лермонтовит. Редкий образец минерала, хранящийся в фондах лермонтовского музея в Пятигорске, имеет цвет светло-серый, чуть с желтизной и напоминает с виду кусочек засохшей глины или, скорее, обломок старинного кирпича.

«На его вершине чернелся каменный крест...»

Осенью 1837 года Лермонтов возвращался из кавказской ссылки. «Я ехал на перекладных из Тифлиса», – так незатейливо начнет он впоследствии свой знаменитый роман. Здесь, на Военно-Грузинской дороге, Кавказ открылся поэту во всем своем мрачном величии. Вид окрестных гор и ущелий с тех пор едва ли изменился. Пристальный взгляд поэта выделил на этом фоне и ряд кавказских древностей, некоторые сведения об исторической судьбе которых нам удалось разыскать.



Путевые впечатления поэта отразились не только на страницах «Героя нашего времени». «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, – пишет Лермонтов с дороги Святославу Раевскому, – и везу с собою порядочную коллекцию...»

В середине декабря во Владикавказе поэта видел его товарищ по Юнкерской школе Василий Боборыкин: «М.Ю. Лермонтов, в военном сюртуке, и какой-то статский (оказалось, француз-путешественник) сидели за столом и рисовали, во все горло распевая... я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяльское ущелье, отстоящее от Владикавказа, как известно, в двадцати-сорока верстах, француз на ходу, вылезши из перекладной телеги, делал *stocuis* (наброски – Н.М.) окрестных гор; а они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделявали и даже, кажется, иллюминировали эти очертания».

Кавказскую коллекцию Лермонтов, добрая душа, раздарил родственникам и друзьям. Со временем почти все картины нашли пристанище в столичных музеях. Одна, написанная поэтом для бабушки, осталась в родных Тарханах. Другая – «Крестовая гора» – оказалась волею судеб в далеком и столь любимом Лермонтовым Пятигорске. «Крестовая гора» – одно из лучших его живописных творений. Слева и справа на полотне поднимаются крутые гранитные утесы, обрамляя заснеженный склон Крестовой, реющей на фоне голубого неба. Сразу вспоминаются строки из повести «Бэла»: тут и «груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье», и «глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням». У подножия горы – военный пост и чуть поодаль – одинокая по-



возка, поднимающаяся на перевал. Таковую обстановку осенью 1837 года здесь, видимо, и застал поэт, странствующий «с подорожной по казенной надобности». Подлинность картины не вызывает сомнений и удостоверена писателем В.Ф. Одоевским, сделавшим на ее оборотной стороне следующую надпись: «Эта картина рисована поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору – место его смерти. Кн. В. Одоевский».

Все так, кроме одной явной ошибки: Лермонтов погиб не у Крестовой в Грузии, а у подножия Машука в Пятигорске. Но сам Одоевский на Кавказе никогда не был и о месте гибели своего младшего друга имел весьма смутное представление. А вот в том, что на картине изображена именно гора Крестовая, сомнений нет: и на полотне и в реальном ландшафте ее отличает высокий каменный крест, установленный на вершине.

О каменном кресте, поставленном здесь «по приказанию г. Ермолова», Лермонтов упоминает и в романе «Герой нашего времени», описывая переезд через Кавказские горы. Максим Максимыч указывает своему спутнику на «холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога...»

Крест, водруженный на перевале, оказался столь приметной деталью местности, что о нем упоминает почти каждый русский путешественник, пересекший Кавказские горы в первой половине девятнадцатого столетия. Вот редкая теперь книга Н. Нефедьева «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году». Ею пользовался еще А.С. Пушкин, работая над «Путешествием в Арзрум». «На вершине Крестовой горы, – сообщает автор, – воздвигнут гранитный



крест, пьедестал коего исписан именами многих проезжающих».

А в печати того времени вокруг перевального креста разгорелась настоящая полемика. Все началось с книги французского консула в Тифлисе, известного путешественника и ученого Гамба (о нем Лермонтов упоминает в романе). Его записки вышли в свет в 1824 году в Париже под названием «Путешествие в Южную Россию и преимущественно в Кавказские области». Отдельные главы публиковались и в русских журналах. Гамба, не поняв настоящего названия горы – Крестовая, пишет о ней как о горе святого Христофора («одна из достопримечательнейших гор, через которые пролегает дорога, есть гора Св. Христофора»).

Впоследствии ученый француз имел много поводов пожалеть о своей злополучной ошибке, ибо она вызвала ряд едких откликов других авторов, более сведущих в кавказской топонимике. Барон Федор Корф заметил, что «путешествуя по чужой земле и не зная туземного языка, должно с большей осмотрительностью описывать то, что видишь, если не хочешь крестить православную Крестовую гору в гору Св. Христофора, каковой на всем земном шаре, сколько мне известно, не существует», и советовал Гамба в последующих изданиях его книги неправильное название горы просто вымарать.

Ошибку француза попытался исправить сотрудник «Московского телеграфа» в статье «Путешествие в Грузию», помещенной в № 15 за 1833 год: «На самой высокой точке переправы через Кавказское ущелье – на вершине Крестовой горы – императором Петром Великим поставлен крест в ознаменование перехода им сими местами с войском своим. Отсюда начало названия горы Крестовой».

Но и тут не все верно. Петр I с войском перехода через Кавказские горы не совершал. Об этом тогда же справедливо заметил Платон Зубов: «Не нужно, кажется, прибегать к пособию истории, которая ясно доказывает, что император с войском следовал берегом Каспийского моря (почти 400 верст восточнее Крестовой горы, по прямой линии), следовательно, не мог поставить сего креста...»

Автору «Московского телеграфа» справедливо возразил и Павел Бестужев, младший из пяти братьев-декабристов. Сосланный рядовым на Кавказ, он за отличия получил офицерский чин. В 1838 году в «Сыне отечества» была напечатана его заметка (по недоразумению опубликованная под псевдонимом его старшего брата, знаменитого писателя Александра Бестужева – Марлинский), в которой говорилось: «...русскому путешественнику стыдно не знать, что Петр I никогда не проходил чрез Кавказские горы и поэтому не мог поставить креста на Крестовой горе...»

Павлу Бестужеву вторит и Лермонтов в своем романе: «...Об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям».

В упомянутом уже письме к Святославу Раевскому Лермонтов сообщил, что «лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке...» Вот тогда, видимо, поэт и прочитал то, что «на



кресте написано крупными буквами». Текст этой надписи сохранили для нас записки известного в прошлом на Кавказе журналиста Е. Вердеревского: «Во славу Бога, в управление Грузиею Генерала-от-Инфантерии Ермолова, управляющий горскими народами майор Давыд Кананов, 1824 г.»

Те же сведения сообщает и В. Мельницкий в статье «Переезды по России в 1852 году», уточняя, что надпись сделана по-грузински и по-русски, а сам крест – «чугунный, хорошей работы, поставлен на гранитном пьедестале».

Что же касается «всеобщего предания», о котором говорит Лермонтов, то оно, действительно, «странное». Петр I побывал на западном берегу Каспийского моря и в прилегающих к нему районах Дагестана, где на берегу реки Сулак заложил большое укрепление Святой Крест, но это было в 1722 году, то есть за столетие до того, как крест на перевале был «поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году». Достоверно в этом предании, пожалуй, лишь то, что оно соотносит появление креста на перевале с какими-то более ранними событиями.

Показательно, что Пушкин первоначально сделал в своем кавказском дневнике запись о кресте, следуя «всеобщему преданию» о нем: «наконец увидели мы на самой вершине горы крест – памятник Петра, обновленный Ермоловым». Потом, когда поэт работал над первой главой «Путешествия в Арзрум», он исправил эту историческую неточность: «Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым».

Попробуем разобраться. Нет сомнений, что Крестовая гора и перевал получили свое название от креста. Но вот когда это произошло? Утвердилось



мнение, что именно в 1824 году. Вот что сообщает об этом весьма авторитетный «Путеводитель по Кавказу» Е. Вейденбаума: «Перевал через главный хребет называется обыкновенно Крестовым. Название это возникло вследствие того, что в 1824 году управлявший тогда горскими народами майор Давид Кананов поставил на старой дороге каменный крест для обозначения точки перевала».

Эти же сведения повторяет и Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, и Большая Советская Энциклопедия, и Краткая географическая, и современные путеводители по Военно-Грузинской дороге. Да, как будто все ясно. Но вот что странно: название горы – Крестовая – встречается и до 1824 года. Например, в путевых записках А.С. Грибоедова, впервые посетившего Грузию еще в 1818 году:

«Ужасное положение Коби – ветер, снег кругом, высота и пропасть. Идем все по косогору; узкая скользкая дорога, сбоку Терек; поминутно все падают, и все камни и снега, солнца не видать. Все вверх, часто проходим через быструю воду, верхом почти не можно, более пешком. Усталость, никакого селения кроме трех, четырех осетинских лачужек, еще выше и выше, наконец, добираемся до Крестовой горы».

Впечатление от кавказской природы было настолько сильным, что отголоски его можно найти в первой редакции «Горя от ума», где Чацкий, рассказывая о своих странствиях, вспоминает:

*...Я был в краях,
Где с гор верхов ком снега ветер скатит,
Вдруг глыба этот снег в паденьи все охватит,
С собой влечет, дробит, стирает камни в прах,
Гул, рокот, гром, вся в ужасе окрестность.*



Получилось так, что трое великих русских поэтов – Грибоедов, Пушкин и Лермонтов – не только сами проделали путешествие по Военно-Грузинской дороге, но и провели этим путем своих героев: Чацкого, Онегина («Он видит: Терек своенравный крутые роет берега...») и Печорина.

Чтобы собрание русских поэтов, обративших внимание на перевальный крест, было полным, назовем еще одного из них, чья воинская слава вот уже более полутора столетий соперничает с литературной, – Дениса Давыдова. Его записки о персидском походе 1826 года дарят нам еще несколько замечаний об истории креста, тем более ценных, что они могли быть сделаны со слов Грибоедова или самого Ермолова:

«Крестовая гора, самая возвышенная точка высот, по коим едешь от Коби до Тифлиса, есть истинный пункт перевала через Кавказ. Вокруг нее находятся горы гораздо выше ее. Она получила сие название от креста, который был водружен на ней первыми русскими, перешедшими за Кавказ во время Екатерины, но так как крест деревянный сгнил, то Ермолов заменил его огромным крестом, высеченным из гранита с таким же подножием».

Но пойдем дальше. В тоненькой книжечке «Отечественных записок» за 1822 год помещено «Руководство для проезжающих Кавказские горы», где есть и описание креста и даже приводится текст надписи на нем, но не «ермоловской», а совсем другой! «На половине сей дороги, – сообщает безымянный автор «Руководства», – нужно переправляться чрез хребет весьма высокой горы, называемой Крестовою... Здесь поставлен каменный крест с следующей надписью: “Крест сей воздвигнут в память

строения дороги, сделан попечением Подполковника Казбека, 1809 года”».

Подполковник Казбек – это князь Габриэл Казибегович Казбеги, получивший впоследствии чин генерал-майора русской службы, дед знаменитого писателя Александра Казбеги. Он был правителем области Хевы, и в обязанности его входило поддерживать хорошее состояние Военно-Грузинской дороги.

Кавказская тема была, видимо, весьма популярна в «Отечественных записках» – годом ранее они поместили очерк И. Ейхфельда «Кавказская дорога» (1821, № 12). И этот путник не прошел мимо гранитного изваяния:

«Едва оставишь долину сию, как должен всходить верст с 10 на высочайший хребет, составляющий истинную границу между Севером и Югом. Он делит воды и климаты. На вершине его найдете вы крест, означающий предел утомлений ваших...»

Но и это не все. Оказывается, крест на перевале появился еще раньше! В одном из номеров «Вестника Европы» за 1805 год некто М. Воронченков напечатал «Письмо из Грузии в Астрахань», – в котором сообщал следующее: «Тотчас за селением Коби, лежащим недалеко от Казбека, начинается взъезд на гору Кашаур... Сия гора разделена глубокою долиною на две, на Крестовую и Кашаурскую. Перевал так называется потому, что на ней подле самой дороги Потемкин водрузил крест каменной...»

Имеется в виду первый наместник Саратовской и Кавказской губерний граф Павел Сергеевич Потемкин, родственник могущественного фаворита Екатерины II. Осенью 1784 года он действительно совершил поездку по Военно-Грузинской дороге в



Тифлис, но сведений о том, был ли по его приказу водружен на перевале крест, разыскать пока не удалось.

«Старый памятник, обновленный Ермоловым», связанный для нас с именами Пушкина и Лермонтова, хранит свою тайну. Разгадка ее кроется, вероятно, в глуби веков. В кавказском путеводителе Григория Москвича, вышедшем в начале XX столетия, сообщается, что впервые крест на перевале был поставлен еще грузинским царем Давидом Возобновителем, дедом царицы Тамары.

Осененная крестом высшая перевальная точка Военно-Грузинской дороги надолго врезывалась в память каждому путнику. Причиной тому служило и важное ее местоположение – в самых недрах Кавказа, и впечатляющий горный ландшафт вокруг, и ореол таинственных легенд и преданий. Неслучайно Лермонтов, прекрасно владевший жанром пейзажа и в живописи и в литературе, навсегда запечатлел Крестовую гору на полотне и в романе «Герой нашего времени».

**Свет
рябиновой ветки**

Есть немало дорог
и немало чудес.
Восклицания наши
довольно нередки.
Но взглядишь
в преисполненный нежности
весь,
Удивительный свет,
свет рябиновой ветки.

И откуда,
казалось бы,
столько добра,
Столько к жизни любви
и презрения к смерти –
Вопреки непогоде колючей –
вобрал
Ало-пепельный взгляд,
взгляд рябиновой ветки?

Подожди, человек.
Я прошу:
не спеши
В невеселую зиму свою
собираться.
Обыграй это чудо
на струнах души,
Чтоб оно и тебе
помогло состояться.



**ВЛАДИМИР
КУДИНОВ**

Поэзия



Сойти с ума от синей грусти
И от пронзительной любви,
Которую назвали Русью
Славяне – родичи мои.

Славянский дух окрест витает,
Отринув суету и прах.
И землю он саму питает,
И колоколит в небесах.

В крутом житейском океане,
Славянским духом окрылен,
Я вас приветствую,
славяне
Былых и будущих времен.

Спасибо, Русь:
ты есть на свете.
И эти кровные слова
Мне тихо подсказали ветер
И в поле желтая трава.

Память

И станицы, и аулы,
И задумавшийся клен –
Будто в вечном карауле
Бесконечности времен.

Сколько было здесь трагедий!
Сколько кладбищ вдоль дорог!
Пали горы на колени.
Если был,
то зря был бог.



Я рябиновую алость
Подержу в своих руке.
Сколько памяти осталось
И в дорогах, и в горах!

Память ходит по тропинкам
Среди ночи, среди дня.
Чьи-то алые кровинки –
На ладонях у меня.

Бьются вьюги, тают весны –
Все своею чередой.
Память – горестные звезды
На земле
и над землей.

Глянешь вдаль –
и сердце дрогнет.
В солнечный круговорот
По тропинкам, по дорогам
Память времени идет.

И ничтожна перед нею
Суета мирских сует,
И вослед за снеговеем –
Абрикосов
буйный цвет.

Память
в речи не играет
Не звонит в колокола –
Собирает, собирает
Наши добрые дела.

Там, где дали серебрят
Где потомки – нам сродни
Пригодятся, пригодятся
Нами прожитые дни.

И как будто в карауле
Этой памяти времен –
И станицы, и аулы,
И задумавшийся клен.

* * *

Когда легко, когда мне тяжело,
Когда сдают натянутые нервы,
Я вспоминаю русское село,
Которое живет в объятьях вербы.

Там все как есть, без розовых прикрас.
И встречный пацаненок скажет: «Здравствуй».
Двойных дверей и двойственности фраз
Там не бывает и в помине, к счастью.

Привычен труд с зари и дотемна,
Который и кормилец, и поилец.
И за него не просят ордена,
Как руки и душа ни утомились.

Там тропки перекрещены внахлест
И лопухи угрелись у забора.
Под желтыми соцветиями звезд
Восходят к жизни махонькие зерна.

Они восходят всем смертям назло.
И русскому селу молюсь я верно.
Когда легко, когда мне тяжело,
Когда сдают натянутые нервы.



Плачущий танк

Вернувшись тихо из атак,
Которые преданьем стали,
Стоит в Котельниково танк –
На невысоком пьедестале.

Но позабыть ему нельзя
Те окровавленные вьюги.
И плачет танк, когда гроза
Блуждает по степной округе.

Ему и летом, и зимой –
Чуть в стороне от шумных улиц –
Танкисты снятся, что домой
До сей поры не возвратились.

На веки вечные ушли,
Сквозь дымку времени растаяв,
И он без них стоит в тиши
На невысоком пьедестале.

Метут снега. Идут дожди,
Смывая запахи полыни.
А не проходит боль в груди
У танка этого поныне.

Хоть номер почты полевой
Теперь он сам уже не помнит,
Но он стоит как часовой
И звуки жизни чутко ловит.

Мальчишки рядом гомонят,
Слетевшись быстрокрылой стаей,
И на Историю глядят
На невысоком пьедестале.

Ласковое скажи

Стонет чья-то беда.

Черные есть

цветы.

Может быть,

для меня

Их поливаешь ты?

Там, где звенел родник,

Горбятся этажи.

В сердце застыл мой крик:

– Ласковое скажи!

Слышится чей-то плач.

Кто-то седеет враз.

Время несется вскачь

И подгоняет нас.

Красные кирпичи

Юрких автомашин...

Кажется, все кричит:

– Ласковое скажи!

Гул самолетный.

Высь.

Стойбища облаков.

Что ж мы так вознеслись?

Звезды

взамен цветов.

Чьи-то надежды жгут.

Кто-то кому-то льстит.



Где-то кого-то ждут,
Чтобы в расход пустить.
Грубостью
 век распят.
Сыплются витражи.
Нет, нам не все простят,
Ласковое скажи!

* * *

Селенья вокруг – известные.
Годами не остужены
Жемчужный и Подлесное,
Привольное, Подлужное.

И каждое – как горенка;
Пригожие, приветные
И Дивное, и Горлинка,
Обильное, Заветное.

Одаривают мятою
Да яблоневою сказкою
Цветочный, Благодатное,
Исправная, Гражданское.

Хвальны хлебами сдобными,
Как будто невесомыми,
Пшеничный и Незлобная,
Счастливое, Веселое.

И жизнь погожа сельская,
Дела рифмуют ладные



Мне больно жить свой каждый час.
Но сердце не заиндевело.
Для нас, любимая, для нас
Часы отсчитывают время.

Оно веками – напрямик.
И перед ним не будем лживы
Свой каждый час, свой каждый миг,
Покуда мы на свете живы.

* * *

В этот летний день погожий
С нетерпением ждёт меня,
Звонко хлопая в ладоши,
Старый тополь у плетня.

Гусь, разбрызгивая лужи,
Гонит блики по стене,
А лопух, развесив уши,
Как и прежде, верит мне.

Где прильнёт к щеке знакомо
Клёна жаркая ладонь.
И поленица у дома
Развернётся, как гармонь.

Где серьгой играя звонкой,
Окружённый стаей муз,
Будет хмель стоять в сторонке
И наматывать на ус:

Свист малиновки у яра,
Жаркий шёпот лебеды...
Деревенские амбары
Впопыхах разинут рты.

Сенокосная горячка –
Нестерпимый летний зной.
Будет фыркать водокачка,
Яро брызгая слюной.

Будут робкие овечки
К водокачке семенить.
Будет хлебный дух от печки
Будоражить и пьянить.



**ВАЛЕНТИНА
ДМИТРИЧЕНКО**

Поэзия





Осенний день...

Ну вот и всё –
Раздет мой сад до нитки.
Струится к небу
Сизоватый дым.
Застыли виноградные улитки
На полпути
К убежищам своим.
Могучий ясень
Погрузился в думы.
Скрипит устало старая ветла.
Осенний день
Холодный и угрюмый
Не дарит ни надежды, ни тепла.
Деревьев тени
Трепетны и зыбки.
В бесцветном небе
Плачут журавли.
Последний луч подобием улыбки
Скользит по лику
Прибранной земли.
И, замерев
На грани дня и ночи,
Плеснёт кармином на моё окно,
Оставив мне
На память пару строчек,
Которым стать
Стихами суждено.

* * *

Шарит клён по скату крыши,
Ищет павшую звезду..
С чердака достану лыжи,
В лес заснеженный уйду –



В край нетронутых владений,
Задыхаясь на бегу,
Где лежат осинок тени
Синей зеброй на снегу.
Где заснеженные кроны
В белом мороке пурги,
Где досужие вороны
Взгромоздились на пеньки.
Где расхристанная ива
Горько плакала навзрыд,
Где шиповник у обрыва
Окровавленный стоит.

Деревня

1.

В лучах июльского рассвета
Родные милые края.
Шагренью северного лета
Прикрыта Лузинка моя,
Где птичий хор многоголосый
Весь день качает провода,
И подорожник у откоса
Прикрыт изнанкою листа.
Я возвратилась, чтоб послушать,
Как ветер в травах шелестит,
И, как амбар, проветрить душу
От прежней грусти и обид.
Здесь всюду свет, здесь всё на воле...
Такая ширь, такой простор,
Здесь сонный луг и лес, и поле
Мой голос помнят до сих пор.
Прости мне, Лузинка, колодцы,
Что солоны от горьких слёз,
Что права – жить тебе под солнцем
Мне отстоять не удалось!



2.

Еще одной деревней стало меньше...
А глушь – какой не знали на селе.
Давно здесь нет ни мужиков, ни женщин
Готовых род продолжить на земле.

Три старика, да пять старух убогих,
Да грай вороний, да собачий вой.
И заросли к деревне той дороги
Чертополохом да полынь-травой.

Горелый лес, ковыль, сухой, как порох,
В замшелых кадках затхлая вода.
Но за деревней есть погост, который
Никто отнять не сможет никогда!

* * *

Глушь лесная, пейзажик неброский,
Ни души. Тишина. Чернотроп.
И спяют наготовю берёзки,
И срывается сердце в галоп.
И душа, повинувась порыву,
Обходя верстовые столбы,
Вдруг очнётся, застыв у обрыва
Непутёвой и глупой судьбы.
Непрерывной пульсацией света,
Утонувшая в кадке звезда,
Мне негромко напомнит, что ЭТО
Я не смею предать никогда!

Сквозняки

Сквозняки, сквозняки,
И в душе, и на сердце, и в доме.
От того, что возможности
Видеть тебя, лишена.
И никто, ты поверь,
В целом свете не нужен мне, кроме
Одного – дорогого,
Которому не суждена!
Сквозняки, сквозняки,
Сквозняки... Невозможно согреться.
Жизнь, конечно права,
Так права – не бывает правей...
Возврати мне, любимый,
Моё наболевшее сердце,
Воскреси и обратно
Вернись к нелюбимой своей!

Снегириха

Льётся в окна тихо-тихо
Зорьки утренней вино.
Прилетела снегириха,
Покосилась на окно.
Неба свод лазурно-синий.
В белом мороке сады.
Звонко стряхивают иней
С веток чёрные дрозды.
Мельтешит синичек стая
На ладошках января.
Снегириха молодая
Поджидает снегиря.
Я в кормушку то и дело
Подсыпаю семена.
От мороза поседела



Гроздь рябины у окна.
А на сердце снег не тает
От утрат и от обид..
Где-то мой снегирь летает
Да к кормушке не летит.

* * *

Спрячет ночь остатки дня вчерашнего
И, вздыхая, будет неспеша
Шёпоту невнятного овражному
До утра внимать моя душа.

Грянет утро залпом почек розовых,
Полыхнёт заря, как маков цвет.
И листочек шёлковый берёзовый
В первый раз увидит белый свет.

Глянет в омут роща соловьиная,
Станет сердцу муторно в груди.
И опять пойдут стихи лавиною,
Всё сметая на своём пути!



Терпенью дано причаститься
И послушное сердце
Не втискивать в роль скакуна.

Хорошо, что порой удаётся
Без лишней потуги –
Тем, чем мы не виновны, –
Уйти от жестокости дел.
Может – к их доброте –
Если всё же поможем друг другу
Только цветом и музыкой
Высветить прожитый день.

* * *

Обед жене уже почти готов,
Пока она ещё ребёнка кормит.
Хожу-брожу начальником столов.
Воистину за всех тоскуя в доме.

Им не подскажешь: чем меня занять.
...Развешу мыслей острова по стенам,
Раскрашу солнцем кафель в сад огня –
И так, чтоб в море превратилось время...

Какая чушь!.. Очнусь... Как тяжело
Быть вольнодумцем, сосланным на кухню.
Вот и благодари судьбу за роль,
За счастье быть чернорабочим будней...

А если упрекнут, что суп сбежал –
Я раскричусь лишь оттого, что знаю:
Как в оттепелях мечется февраль
И в лужицах снежинки догорают.

* * *

На другой стороне
Бесконечных окраин души
У меня есть парадный костюм
И китайская роза.
Как стихийное бедствие – кот..
А на этой – дрожат камыши,
И, проспавшее зиму,
Болото насквозь безголосо.

Не успел и заметить,
Как сбросил с очей саркофаг –
Приобщая себя
Ко всему, ко всему, чему внемлю:
Ощущая готовность
Вмороженных в лёд черепах
Пробудиться и жить,
И держать над безумием землю...

* * *

Шпагу имею... двух женщин... и пистолеты*Яцек Качмарски*

А когда у моих красавиц
Заканчиваются патроны..
И не скажу: где зарыта шпага –
Это ведь не игрушка! –
Как театральная вешалка,
Я затихаю скромно –
Просиять и подслушать:
Что им всё-таки нужно?

Двадцать счастливых лет
Жена посмотреть хотела:



Где же найдётся дура –
Вытерпеть мой характер?
Вот и нашлась! –
Прёт в гости... Считая делом
Все мои философствования –
Впрочем – вопроса ради:

Ну разве вот так бывает?..
Чтоб на всю жизнь – бывает?..
Чтобы надёжно,
Немудрено и серьёзно?..
– Знаю, что факты есть.
За какие заслуги? – не знаю.
Знаю, что поздно!.. Пойдём провожу –
Слишком поздно!..

Ей – молодой –
Поди, объясни причины!
Да и мне найдётся:
Что выслушать в этот вечер!
Но город будет стоять! –
Пока хоть один мужчина –
Как это ни тяжело –
Ещё понимает женщин.

НОВОЕ ИМЯ

Голуби

Выпусти ввысь голубей,
Пусть они в небо взметнутся!
Но, если верят тебе –
Снова обратно вернуться.

Молча на них посмотри,
Радостным вдумчивым
взглядом.

Небо – обитель любви,
Значит, она где-то рядом.

Пусть порезвятся они,
Дети безбрежного мая!
Робко коснется земли,
Перышко– весточка рая...

Понедельник

Утро. Проснулась. Хандра
вместо бодрости.

Вновь понедельник.
Отглажена юбочка.

Как надоели мне эти
условности,
("Раньше проснешься, все будет
на блюдечке"),

Море проблем: то, другое
и третье,

Мой "паровоз", как всегда,
будет вовремя,



**ОКСАНА
КРИС**

Поэзия





Что-то забыла? Да нет, я проверила,
Деньги, мобильник, все с вечер собрано.

И на работу спешу по инерции.
Сильно озябла, ведь осень холодная.
Как настроенье, она переменчива.
Просто для радости нет еще повода.

Еду в троллейбусе. Двери все заперты.
В «пробке» стою. Тянет в форточку холодом.
Я у Небес, словно инок на паперти.
Лето прошу для промокшего города.

Небо под вечер от сырости морщится,
В дне наступающем ищет спасения.
Все, что задумано, завтра исполнится,
Я же прошу у него лишь терпения.

Ушедшим друзьям

...Утрата нас оглушит тишиной,
В мгновенье ока все перевернет.
Все вспомним вдруг с нежданной слезой!
И сердце от отчаянья замрет..

Не разделить беду уж на двоих,
И радость не умножится вдвойне!
Лишь память будет душу беречь,
Да встречи могут сбыться лишь во сне...

Простите нас, ушедшие друзья!
Охваченные суетой пустой,
Мы забываем часто: жизнь – свеча,
Что дважды не лучится пред тобой...

Любовь понять нельзя...

Любовь понять нельзя.
Она воскреснет снова.
Один лишь только взгляд.
Одно лишь только слово...
Касания руки, волнующие вены.
Они, как первоцвет,
Нежны и незабвенны...
И нас согреет вновь
Под тихий плач дождя
Моя к тебе любовь,
Весь мир земной храня...

Женские слезы

Не сосчитать нам женских слез,
И черных дней, и белых роз.
Но хватит лишь одной слезы,
Чтоб стал соленым вкус росы...

Старый тополь

Мы с тобой взгрустнули оба,
Старый друг былых забав.
Что шумишь, весенний тополь,
Ветвью облако обняв?

Запустил верхушку в небо,
Осенья двор крылом.
Ты в ладу с ветрами не был,
Прикрывая милый дом.



Восхищаюсь крепкой статью
И стремлением к мечте.
Ты теперь со звездной ратью
В запредельной высоте.

Не грусти, мой старый тополь,
Землю пухом отогрей.
Твой негромкий добрый ропот,
Навсегда в душе моей!

Духовное завещание классиков

(Подготовка текста,
предисловие и публикация)

Проблема изучения генетических связей между творчеством русских писателей XIX–XX веков давно стала одной из основных в отечественном литературоведении. И многое было сделано на этом пути. Однако открытие в 1990-е годы целого ряда имен, по известным причинам забытых и запрещенных, особенно это касается литературы русского зарубежья, обнажило многочисленные лакуны в данной области исследований.

Первые попытки анализа эмигрантской литературы относятся, как известно, к концу 1920-х годов. Они принадлежат перу авторитетного критика и писателя А.В. Амфитеатрова, и озвучены автором в его лекции «Литература в изгнании», прочитанной в Миланском филологическом обществе. В докладе практически впервые обращалось внимание на национальную генетическую составляющую творчества изгнанников, поднявших русскую литературу



**АЛЕКСАНДР
ФОКИН**

**Литерату-
роведение**





на новые высоты, несмотря на материальные лишения и моральные утраты.

Рассматривая состояние эмигрантской поэзии и прозы, А.В. Амфитеатров подчеркивал, что авторы XX века, а им было названо более ста имен, продолжили прежде всего литературные традиции второй половины XIX. При этом он выделил два направления: художественный объективизм, определяемый именем И.С. Тургенева (неотургенизм), и страстный субъективизм, связанный с влиянием творчества Ф.М. Достоевского.

Для неотургенизма, по мысли Амфитеатрова, был присущ описательный характер, наблюдательное спокойствие. Это направление, считал он, было доминирующим, что объясняется, отчасти, утомленностью интеллигенции ужасами Гражданской войны, жуткими переживаниями, выпавшими на ее долю. «Потребовалась, – как он пишет, – успокоительная реакция духа в сторону оптимистических исканий... Живем и жить хотим». Вторая причина, объясняющая преобладание неотургенизма, заключалась в превалировании в эмигрантской литературе темы тоски по утраченной Родине. Порой говорили, что, выехав за границу, писатели унесли на подошвах комочек земли из своих уездов, губерний, унесли с собою Отчизну, которую никакие неповторимые панорамы мира заменить не могут. Ностальгия делала свое дело, и уже в 1927 году известный критик и книгоиздатель М. Цетлин охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в литературной среде эмиграции, следующим образом: «Как для восприятия электрического тока нужен особый вольтаж, так и художник может воспринять и переработать только впечатления соответственные его духовному "вольтажу". А он приспособлен "на Россию"». Именно по-



этому обращение к опыту И.С. Тургенева, жившему долгие годы за границей, но сумевшему сохранить и передать через свои произведения любовь к России, во многом определяло жанровые и тематические поиски писателей первой волны эмиграции.

Соглашаясь с общими характеристиками литературы русской эмиграции 1920-х годов, данными в докладе А.В. Амфитеатрова, а также принимая во внимание другие литературно-критические наработки по данной проблеме, мы склонны отнести творчество Ильи Дмитриевича Сургучева (1881–1956) к неотургеневскому направлению в литературе зарубежья. Показательно, что и сам писатель, будто соглашаясь с данной классификацией, весьма часто адресуется в своих произведениях к творчеству И.С. Тургенева, апеллирует к его авторитету и как художника, и как мыслителя, и как человека.

Так, например, уже в одном из первых своих значительных эмигрантских произведений – пьесе «Реки вавилонские» – И.Д. Сургучев, устами одного из героев, весьма жестко характеризует причины и следствия русской революции, объясняя их особенностями национального менталитета:

«Мы, русские, если доискаться причины всех причин, – конечно же, дураки. Глупость – наша основная, национальная черта. Ведь, в сущности, все, что сейчас в России происходит, конечно же, – это трагедия глупых людей».

Далее он говорит о том, что расставить все точки над «i» в этой свершившейся «глупости», дать ей глубочайшую аналитическую оценку и указать путь духовного преодоления национального и государственного кризиса России способен только писатель, равный по таланту И.С. Тургеневу:



«Если бы я обладал талантом Тургенева, я бы написал роман или пьесу и так бы ее и озаглавил: "Трагедия глупых людей"».

С именем И.С. Тургенева связаны и ностальгические нотки эмигрантских произведений Ильи Сургучева, в которых он обращается к воспоминанию благополучия и уюта своего дореволюционного «провинциального гнезда» – родного Ставрополя-Кавказского:

«Открываю девяностые годы – и словно пью из кружки, поданной Мефистофелем. Юность, прелестные подруги, фиалки, синее небо далекого провинциального города, милый уют семьи, печка в долгие зимние вечера, когда после пяти часов воспрещалось выходить на улицы, мечты о Петербурге, первое чтение Тургенева, удивительнейшие сны...».

Идеалом тургеневского искусства изображения любовных переживаний, его мастерством и неповторимостью в передаче художественными средствами слова самых интимных чувств людей, особенно мужчин, на что не всегда обращают внимание читатели и исследователи, навеяны и трогательные лирические страницы романа И.Д. Сургучева «Ротонда»:

«Я привык думать о тебе, ни на что не рассчитывая, даже на простую встречу. Как писали в сороковых годах, я носил в душе твой образ, последний образ, который по-тургеневски волновал меня и давал содержание моей жизни. Может быть, в этом было много надуманности и нарочитости, которыми очень часто бывает полна русская любовь, одна из самых тяжелых в мире, но это было так, и я, с седыми волосами на висках, часто просил Бога, чтобы он послал во сне видение тебя».

* * *

Эпиграфом ко всему эмигрантскому творчеству И.Д. Сургучева, как, впрочем, и многих других писателей-изгнанников, могли бы стать строки тургеневского стихотворения в прозе «Старик» (1878):

«Настали темные, тяжелые дни...

Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак...

*Все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, –
никнет и разрушается...*

*Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе,
ни другим ты не поможешь... На засыхающем по-
коробленном дереве лист мельче и реже – но зелень
его та же.*

*Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспомина-
ния, – и там, глубоко-глубоко, на самом дне со-
средоточенной души, твоя прежняя, тебе одному
доступная жизнь блеснет перед тобою своей па-
хучей, все еще свежей зеленью и ласковой и силь-
ной весны!»*

Произведения Сургучева-эмигранта – это, действительно, произведения-воспоминания, больше напоминающие дневниковые записи, в которых рефлексия над собственными переживаниями об утраченной Родине, занимает центральное место. Отсюда жанровое предпочтение отдается рассказам, очеркам, лирическим зарисовкам. Даже в крупных по объему произведениях – пьесах, романах и повестях – деление на сцены и главы несет скорее печать разных по объему подневных записей, нежели композиционных частей драматургических и эпических полотен.

Однако нельзя сказать, что такое жанрово-тематическое единство произведений И.Д. Сургучева постреволюционного периода обусловлено



только эмиграцией. Правильнее будет утверждать, что причина не столько в эмиграции, сколько в генетических истоках его литературных предпочтений, опирающихся в большей степени на творчество И.С. Тургенева. С русским классиком он ощущал не только свое генетикотипологическое родство, с точки зрения сочинительства, но и родственно-генетическую, если не биологическую, то, по крайней мере, духовную связь.

Коды, свидетельствующие о такой связи между писателями, рассеяны в большинстве текстов И.Д. Сургучева. Некоторые из них подобны тем, что уже приведены в цитатах выше, другие – не носят назывной характер и поэтому требуют дешифровки и толкования.

Так, например, его роман «Ночь» завершают следующие слова главного героя: *«Слыву крестьянином Калужской губернии, Тарусского уезда, Кареевской волости, сельца Ишутина, а как по-настоящему зовут меня, – ответа не дождетесь...»*.

Аналогичное указание точного места рождения героя, но опять без имени, предложено автором и в рассказе «Шведская демократия», из которого становится ясно одно: *«Кто он, этот соотечественник? Не разберешь. Несомненно, что калужский: на аршин тесто мерил; презирает рязанских, что огурцом телушку резали и костромских, которые в трех березках заблудились»*.

Главный герой романа «Ротонда» также является уроженцем Калужской губернии – губернии-хранительницы исконно русских хлебопекарских традиций, национального языка и веры. Его предсмертное письмо возлюбленной в финале романа пронизано заботой о продолжении своего рода, за-

логом которого должна быть подлинно национальная культура:

«Прошу тебя, – пишет он, – если у тебя родится сын, выучи его русскому языку и в учителя возьми человека, родившегося в Калужской губернии. Воспитай его в православной вере. Живи в городе, где есть русская церковь. Пусть с детства он поет в церковном хоре. Он узнает сладости осьмигласия, херувимских песней, величаний, пасхальных ирмосов, литургии Иоанна Златоуста, заповедей блаженства и начинательных псалмов Давидовых. Жизнь и ум его покажут, будет он верить или нет, но то, что он приобретет в этом наследии певцов и поэтов, даже неверующему даст богатство и радость и в трудную человеческую минуту поддержит его».

Столь частое подчеркивание И.Д. Сургучевым места рождения своих героев – Калужской губернии – можно было бы оставить без внимания с точки зрения темы «Тургенев и Сургучев», если бы не два «но». Во-первых, писатель сам являлся выходцем из калужских земель, хотя и родился в Ставрополе. Дело в том, что предки его по отцовской линии попали на Кавказ как переселенцы, а их исконная родина – сельцо Иштутино Тарусского уезда Кареевской волости Калужской губернии. Во-вторых, И.С. Тургенев также по мужской линии являлся калужанином. Род Тургеновых, как известно, пошел на Руси от татарского мурзы Льва Тургена, который, присягнув в 1440 году на верность великому князю Василию Васильевичу, принял русское подданство, а при крещении в православие получил русское имя Иван. По семейному преданию князь Василий Васильевич благоволил к Ивану Тургенову и пожаловал ему богатейшие хлебные имения Калужской губернии.



В своем творчестве И.Д. Сургучев словно следует за родом Тургеневых. Называя в произведениях многие русские земли, он, тем не менее, создает положительный образ только тех из них, где в свое время прославились на государевой службе предки И.С. Тургенева: Черниговской, Белгородской, Тамбовской, Орловской, Царицынской, Астраханской и, естественно, Московской губерний. Достаточно вспомнить здесь Григория Михайловича Тургенева, который в XVI веке был головою в Чернигове, Афанасия Дмитриевича и Дениса Петровича Тургеневых, служивших полковыми воеводами соответственно в Белгороде и Тамбове. Такое пристальное внимание к роду Тургеневых вряд ли продиктовано только интересом к творчеству классика, а истинные причины загадочны. Но и мы, до поры до времени, не станем срывать с них ореол таинственности, поскольку это – святая святых художника, и приоткрывать дверь в нее, чтобы не просто заглянуть, а войти, следует чрезвычайно осторожно. Поэтому обратимся далее к другим фактам, связавшим судьбы писателей воедино.

* * *

И.С. Тургенева и И.Д. Сургучева лишь с очень большой натяжкой можно назвать современниками: последний родился за два с половиной года до смерти своего великого предшественника. Но жизни их связаны в одно целое общим современником, да еще каким, – женщиной, воистину роковой женщиной, – великой русской актрисой Марией Гавриловной Савиной. В историю мирового театра она вошла, помимо множества блистательно исполненных ролей, прежде всего созданным ею на сцене



Александринского Императорского театра образом Верочки в спектакле по пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне».

«Неужели эту Верочку я написал?! Какой у вас большой талант!» – восхищенно шептал И.С. Тургенев, глядя в глаза М.Г. Савиной после спектакля 15 марта 1879 года. Этот вечер был ознаменован не только знакомством двух великих творческих личностей, но и стал отправной точкой к их искренней дружбе и даже совместным выступлениям в те короткие периоды, когда писатель бывал в России. В памяти петербургской публики тех лет неизгладимое впечатление оставил литературный вечер в Благородном собрании, где Тургенев и Савина читали сцену из «Провинциалки». Когда Мария Гавриловна произнесла первую фразу: «Надолго вы приехали в наши края, Ваше Сиятельство?», – грянули аплодисменты, а Иван Сергеевич, растроганный до слез, долго не мог продолжить чтения и стоял смущенный и улыбающийся.

С первых дней знакомства у писателя и актрисы возникли самые теплые, доверительные отношения. Иван Сергеевич с большим интересом следил за сценической деятельностью М.Г. Савиной, искренне радовался ее успехам. Он видел в Марии Гавриловне не только блестящую актрису, но очень милую и обаятельную женщину, умную собеседницу с открытой, искренней душой. Письма к ней потянулись длинной чередой. Но особенную радость им обоим доставляли личные встречи. Пребывание Савиной в Спасском летом 1881 г. было для Тургенева праздником. Она была одной из немногих, кому довелось увидеть писателя в последний его приезд в Россию, блеснуть «улыбкою прощальной» на печальный тургеневский закат.



Тургенев читал ей новую романтическую повесть «Песнь торжествующей любви», которая не была еще тогда опубликована. Последняя встреча И.С. Тургенева и М.Г. Савиной состоялась в Париже весной 1882 года, когда Иван Сергеевич был уже неизлечимо болен. Прощаясь с писателем, она понимала, что больше никогда его не увидит. Его письма как «святыню» актриса хранила до самой смерти и рассталась с ними только единожды, когда передала их на Тургеневскую выставку, открывшуюся в Петербурге в 1909 году, поместив в большую черную раму под стеклом.

За долгую творческую жизнь М.Г. Савина сыграла многих тургеневских героинь: Верочку и Наталью Петровну («Месяц в деревне», 1879, 1903), Белоногову («Холостяк», 1882), Марию Петровну («Вечер в Сорренто», 1884), Дарью Ивановну («Провинциалка», 1888), Лизу («Дворянское гнездо», 1894). При ее содействии были сделаны инсценировки по произведениям «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Первая любовь», «Вешние воды». В этом репертуаре не хватало только пьесы, свидетельствующей о глубине прочтения ею всех тургеневских образов, о глубине ее чувств к И.С. Тургеневу. И такая пьеса должна была непременно появиться. Она долго созревала в сердце и творческом сознании актрисы.

Парадоксально, но именно год последнего пребывания И.С. Тургенева в России, его «прощальной улыбки», стал годом рождения в ставропольской семье купца Дмитрия Васильевича Сургучева и супруги его Соломонида Петровна Маковозовой сына Ильи. Как раз ему суждено будет облечь в драматургическую форму замысел М.Г. Савиной, а возможно, один из невоплощенных замыслов самого И.С. Тургенева.

Спустя тридцать лет после своего рождения, молодому драматургу и талантливому прозаику Илье Сургучеву выпала большая честь – пригласить М.Г. Савину сыграть в его пьесе главную роль, ставшую едва ли не последней в славной карьере актрисы. Это была пьеса «Торговый дом» – первая пьеса И.Д. Сургучева. Премьерный спектакль состоялся 25 октября 1913 года в Александринском Императорском театре. Первый раз в истории Савина в этом спектакле играла, говоря театральным жаргоном, «патентованную старуху»:

«Это было то, что в Америке называют театральной сенсацией, – вспоминал Сургучев позже. – Когда на фоне великолепной декорации, написанной кн. Шервашидзе, показалась старуха в уставном фиолетовом чепце, когда, подчинившись великому искусству, как-то по-старчески, особым тяжёлым и глубоким блеском загорались знаменитые савинские прекрасные глаза, когда раздался знакомый голос, на этот раз осложненный какими-то особыми, в первый раз зазвучавшими, глубинными интонациями, зрительная зала Александринского театра замерла. Великая актриса на склоне лет показала, что в ее диапазоне есть новые, до сих пор ни разу не использованные, редчайшей красоты ноты. Я видел, как из глаз А. И. Долинова, ставившего пьесу, потекли скупые слезинки...».

Но главная сенсация в жизни И.Д. Сургучева была еще впереди. Во время одной из их встреч на репетиции «Торгового дома» М.Г. Савина обратилась к нему с загадочной просьбой:

«Слушайте, – говорила она, – первый раз в жизни я сыграю старуху в вашем «Торговом доме». Вы понимаете, что еще десять лет я мог-



ла бы не касаться этой роли, но... у меня есть свои соображения. Ставлю одно условие: вы напишете для меня пьесу на тему, которую я вам дам. *Согласны?».*

Он, естественно, согласился:

«– Знаю я вашего брата, – сказала она, – сегодня, когда я вам нужна, вы согласны, а завтра вас собаками не сыщешь! Клянитесь...

– Где же Библия, Марья Гавриловна?

– Клянитесь вот на этом, – и Савина показала мне на стену.

На стене, среди картин, висела довольно большая рама. Под стеклом этой рамы были разложены конверты, надписанные каким-то знакомым, красивым, знаменитым почерком.

– Это что такое? – спросил я.

– Это конверты тургеневских писем ко мне, – ответила Савина.

Вероятно, на моем лице было написано изумление: в самом деле, зачем вешать на стену конверты от старых писем? Савина поняла это и объяснила:

– Многие думают, что я рассказываю сказки о том, что Тургенев писал мне... Ну вот, пусть видят».

Сургучеву ничего не оставалось делать, как в точности выполнить ее указания и обратиться в слух. И Савина, слово за слово, рассказала ему тему пьесы, которую он позже назвал «Осенние скрипки». «Рассказывала она подробно, – вспоминал он, – с диалогами, с мизансценами, – видно долго носила это в душе. В этой пьесе остались неприкосновенными ее некоторые подлинные выражения».

Именно эта пьеса, вылившаяся из самых потаенных глубин души М.Г. Савиной, стала своеобразным

живым мостиком между ярчайшими представителями двух эпох, двух поколений русской литературы – века Золотого и века Серебряного. Именно М.Г. Савина навсегда соединила И.Д. Сургучева с И.С. Тургеневым. Делясь партитурой пьесы с молодым драматургом, Савина мыслила создать в ней памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу, поскольку в ней разрабатывались мотивы и «Месяца в деревне», и «Провинциалки», и других его произведений. Надеялась она, что пьеса станет и ее лебединой песней, поскольку хотела сыграть в ней роль Варвары Васильевны – свою последнюю роль. Но могла ли она предположить, что «Осенние скрипки» станут и «нерукотворным памятником» И.Д. Сургучеву. И хотя по состоянию здоровья Марии Гавриловне не довелось выйти на сцену в этой пьесе, она была на премьере спектакля во время гастролей Московского Художественного театра в Санкт-Петербурге и была главным свидетелем ее первого зрительского успеха.

* * *

Обращаясь к творчеству И.С. Тургенева уже в период эмиграции, И.Д. Сургучев пытался все время ответить на вопрос, как нельзя более волновавший и его великого предшественника: *«Есть ли все-таки будущее у русского человека, живущего вне России?»*. Жесткая, во многом авторитарная связь человека с горизонтом своей Родины, ее культурой и народом, которую в своих произведениях постулировал Тургенев, придавала эмигранту XX века существенность, определяла значимость «родного гнезда» в жизни Сургучева, одновременно диктовала ему стилистику переживаний по этому поводу. Она де-



лала его пребывание вне России и личной трагедией, и патриотической миссией.

Жизнь вне Родины – это приобретение опыта надежды. Надежды хотя бы на символическое возвращение туда, откуда уехал. Ведь именно оторвавшись от всего родного, человек оказывается в плену бесконечных возвратов, привязывающих все его мысли к стране, городу, дому, оставленным где-то за горизонтом. У истоков эмиграции всегда лежит вольная или невольная утрата домашней, своей, территории. Если прошлое – это Родина, а настоящее – линия разрыва с ней, то будущее эмигрантов также немислимо без конкретного географического пространства. Будущее как раз в способности и возможности актуализировать «фактор территории» в своей дальнейшей жизни, «прикрепить» идею воображаемого, желанного места-дома к физической реальности.

Опыт великого предшественника по обретению такого «места-дома» стал для И.Д. Сургучева во многом определяющим: И.С. Тургенев был, как известно, похоронен, согласно завещанию, в России. Ему были отданы все почести достойные его гения. Но путь к этому последнему «месту-дому» был и в те годы загадкой, а для эмигрантов ХХ века в новой исторической ситуации и вовсе предстал проблемой космического масштаба. Сургучев пытался решить ее для себя, начав еще в 1920-е годы писать биографическую повесть о Тургеневе, некоторые фрагменты которой публиковались на страницах парижской газеты «Возрождение». О степени же ее завершенности поведали архивы писателя, и читатели могут теперь оценить ее по достоинству.

Предваряя публикацию этой повести под весьма условным заглавием «Посвящение», мы уже осве-



тили в общих чертах путь Сургучева к Тургеневу, к осмыслению его жизни и творчества на этой стезе. Но прежде чем дать слово самому писателю, позволим себе еще несколько замечаний.

И.С. Тургенев в русском зарубежье занимал второе место среди писателей-классиков по изданию произведений. Так, в первые 15 лет после 1917 года, отдельными томами многократно переиздавались практически все его произведения, а полные собрания художественных сочинений Тургенева выходили в серии «Русские классики» инициированной издательством И.П. Ладыжникова – 9 томов (Берлин, 1919–1920), в берлинском издательстве «Слово» – 10 томов (1921–1923) и в издательстве «Жизнь и культура» – 10 томов (Рига, 1929–1930). Публиковались письма писателя, мемуарные свидетельства современников о его жизни и творчестве.

Огромный интерес к И.С. Тургеневу в среде изгнанников требовал, естественно, критического и научного осмысления его художественного, общественного и философского наследия и опыта. Неоценимую роль в этом сыграли поэты и писатели зарубежья, чья художественная рефлексия над произведениями великого предшественника, характеризуется не только глубочайшим проникновением в мастерскую классика, но и стремлением постичь и объяснить национально-ментальную и духовную составляющие его картины мира.

К творчеству И.С. Тургенева обращались К Бальмонт, Б. Зайцев, М. Алданов, В. Набоков, А. Ремизов и многие другие. Но процесс изучения этой стороны литературной эмиграции первой волны только начинается. Первая попытка, пусть обзорная, осмысления творчества Тургенева русским зарубежьем представлена в четвертом томе «Литературной



энциклопедии русского зарубежья. 1918–1940», который носит подзаголовок «Всемирная литература и русское зарубежье» (М., 2006). Помещенная в нем статья В.А. Александрова и К.А. Жульковой дает лишь общее представление по данному вопросу, поскольку в ней названы наиболее репрезентативные, «раскрученные» на сегодняшний день имена писателей, критиков и философов, так или иначе обращавшихся в своих воспоминаниях, рецензиях, эссе и художественных текстах к творчеству Тургенева. Приходится сожалеть, что за рамками данной работы остался, по понятным причинам, И.Д. Сургучев. Ведь его творчество только начинает вливаться в полноводное русло русской литературы XX века, не обремененное теперь дамбами запретов, деливших ее еще не так давно на несколько истощенных идеологией ручейков.

Рефлексия-проживание И.Д. Сургучевым биографии и творчества русского классика чрезвычайно интересна и оригинальна. Он одним из немногих показывает И.С. Тургенева растворенным в русской народной стихии объективным художником. В его видении Тургенев-русский-человек не просто противопоставлен Тургеневу-европейцу, но побеждает его. Убедителен писатель в раскрытии главных экзистенциальных тургеневских мотивов: любви, смерти, раскаяния. Предвосхитил Сургучев и такую тему в осмыслении тургеневского творчества, как мистицизм, которая стала весьма популярной в трудах о Тургеневе уже во второй половине XX века, особенно после аналитической работы В.Н. Ильина «Тургенев – мистик и метапсихик», опубликованной в № 77 журнала «Возрождение» за 1958 год.

И еще одна, пожалуй, главная тема повести – проблема литературной преемственности. Сургучев ду-



мал об этом беспрестанно, об этом сохранилось много рассуждений в его дневниках и записных книжках. Вот, например, запись от 2 октября 1941 года:

«Смотрю, как старый кот учит молодого котенка ловить мух и играть в прятки, и с благоговейной благодарностью вспоминаю, как нас, молодых литературных котят, учили жизни старые литературные коты. Эмиграция не дала, или вернее сказать, почти не дала писательской смены. Причины? Их множество».

Далее он доказательно перечисляет некоторые из этих причин: «недостаток периодических изданий», «недостаток интереса у опустившейся публики», «книги не расходятся или расходятся плохо», «отсутствие критики». Но «главную беду» он видит все-таки *«в том, что в русской литературной церкви пресекался обряд посвящения, таинство передачи литературной благодати».* По мнению Сургучева это «таинство» существовало во все времена и во всех литературах:

«И в сравнительно недавней литературе французской – в тот период, который я особенно пристально изучал – особенно была трогательна передача этой божественной благодати, без которой не строится ни один литературный дом, – от Флобера и Тургенева к Ги де Мопассану».

Вину за художественное бесплодие нового литературного поколения И.Д. Сургучев возлагает на старое писательство, оставившее молодежь без посвящения, проявившее равнодушие, почти преступное:

«Выросла бесплодная смоковница. Если и есть маленькие исключения, то они только подтверждают общее правило. <...> В этой вечной засухе молодежь быстро изнашивалась, теряла писатель-



ское оперение, брэнчала на скверно настроенных «лирах», заражалась зазнайством, разговаривала только в планах гениальности и «Семен хвалил Агафона, а Агафон хвалил Петра». И деньги за похвалы сыпали в общую кружку».

Как эта проблема близка нашему времени! Как удивительно точно слова И.Д. Сургучева отражают состояние дел в современном литературном процессе.

Однако, предоставим, наконец, слово самому Илье Дмитриевичу и дадим возможность современным читателям и исследователям оценить его мудрость, оригинальность и смелость.

Посвящение

Повесть

I. Обед

Приснился Достоевский. Это было нехорошо, перед возобновлением болей. И, как на грех, к завтраку подали ту самую куриную рубленую котлетку и тот полустакан красного вина, который и так далее, и так далее...

Тургенев с отвращением вспоминал тот визит к нему Достоевского, когда Достоевский явился, непрощенный, в час завтрака и когда Тургенев как раз ел эту проклятую котлетку и перед ним стоял этот проклятый полустакан бордо, которого он не пил, а только брал в рот, по капле, для вкусовых ощущений. Какая дичь, какое незнание элементарных обиходных правил, чтобы ввалиться в дом как раз в такое время! И это семинарское оглядывание бархатной куртки, и этот серный дым, выходящий из глаз, и типичное писательское запоминательство, наматывание на ус, и злоба, как будто кто виноват, что человек не умеет писать пейзажа и только орет, как баран под ножом. Накручивает раскаленную проволоку несуществующих в при-



**ИЛЬЯ
СУРГУЧЕВ**

Неизвестная классика





роде чувств, что-то орет, несовместимое ни с каким аккомпанементом, и думает, что это – искусство, художественная литература, и пожалуйста за это славу, аплодисменты и деньги, которые я сейчас продую в первом попавшемся притоне. И потом пойду клянчить у того же ненавистного Тургенева, барина, крепостника, бездарного писателишки, размазывателя копеечных тем на рублевые книжки, – будьте милостивы, отпустите на пропитанье души двадцать пять талеров серебром. И что особенно противно – это портновское прищуривание правого глаза, как будто хочет шить без примерки, – и похож-то на чахоточного подмастерья из Галерной гавани.

С бешенством открылась дверь, показался привычно-разъяренный Виардо и швырнул к нему на постель почту. Прямо на живот упала книжка «Вестника Европы» в рыжей бандероли, а письма завалились за кровать. Тургенев опустил руку между кроватью и ковром, начал шарить, выпачкал пальцы в пыль и извлек конверт. Мелкий неприятный почерк Савиной. Невеста неневестная. Каждая буква выписана, запятые и восклицательные знаки, недомолвки, намеки тонкие на то, чего не ведает никто. Шесть страниц. Печатная буква с неприятно-изысканной монограммой. Новое перо, почти без нажимов старалась, «о» и «а», тщательно вверху закругленные, – признак хитрости и скрытности, себе на уме. Ты сер, приятель, а я сед и замуж тебя не возьму. Ах ты грозишь, что сватается Никита Всевожский? Ради Бога, совет да любовь. Купишь корабль. И Тургенев, засмеявшись в ус, вспомнил, как этот Никита здесь, в Париже, кончал самоубийством: прыгнул из второго этажа, сам остался жив, а какого-то мирного ситуайена задавил насмерть. Хохотал весь Париж, пели в театриках, что русскому здорово,

то французу – смерть. Каково так лестно для национального самолюбия. Нет, подальше от компатриотов, пусть вешаются, стреляются, прыгают с башен, нам такие темпераменты не ко двору.

Тургенев еще пошарил за кроватью и вытянул письмо с печатью на углу склеивания, от Стасюлевича, просит еще «Сенилия», стихов в прозе, «как хороши, как свежи были розы». Стасюлевич, человек дотошный, отыскал конец:

*Как хороши, как свежи были розы,
В моем саду! Как взор ласкали мой.
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой.*

Последние две строки тоже не дурны, а все же лучше сегодня обедать у Дарю с Флобером и Золя. Кстати... Тургенев разорвал на «Вестнике Европы» обложку и просмотрел оглавление: слава Богу, корреспонденция Золя напечатана, больше листа, рублей на сто пять, французик будет отменно доволен и купит жене брошку из гранатов: модно и не кусается. Ученый будет доволен. Не беллетрист, а ученый натуралист. Не дурак ли, надо присмотреться. И опять Достоевский. Припер (именно припер) во время завтрака, ехидно смотрел на котлетку, на полустакан вина, и вдруг почему-то таинственно вынул из кармана двадцать пять талеров:

– Плачу должок-с. Пожалуйста расписочку-с.

– Позвольте, Федор Михайлович, когда я вам давал деньги, я же с вас расписочек не требовал...

– Правильно, правильно-с, глубокочтимый (глубокочтимый!) Иоанн Сергеевич, не требовали-с, не требовали-с. А вот я с вас потребую-с. Потребую-с. Автографчик-с. С евангельскими-с буквочками-с. Вашими-с.



Написал демонстративно четко расписку, вы- проводил и для самочувствия побрызгал комнату лавандой. И зачем все это осталось в памяти? За- чем? Какое это божеское наказание – память! Надо тащиться в Париж, обедать с Флобером и ученым натуралистом, а потом показывать этому наглому мальчишке, как играть на театре уличных девок. Имя у него ничего: Ги де Мопассан. Что-то подо- зрителен Флобер с мадам де Мопассан. Все старый черт валит на дядюшку, а кажется не в дядюшке там сила. У мальчишки озорные глаза и, кажется, сифилитическая наследственность: Золя, смотри в оба, по твоей специальности.

У Дарю на этот раз подали хорошо, кура была съедобная, масло поставили сливочное, Флобер дул восьмифранковое вино, как воду. По размеру живо- та можно было судить, что может выпить ведро. Золя, узнав про корреспонденцию, сиял и что-то мечтательно примеривал в голове, и глазки блесте- ли за продолговатыми стеклышками пенсне.

Флобер издевался над его ученостью.

– Да-да, – парировал тот с холодноватым сек- тантским огоньком в глазах, — я ученый, я не вы- думываю, я исследую. И думаю, буду до последней капли крови проповедовать, что времена так на- зываемых художественных выдумок, вдохновений и муз прошли, что в искусство нужно ввести науку, научные данные, что общество нужно не только развлекать, а и учить, поучать...

– И вот за это вам никогда не дадут Почетного Легиона, – сказал Флобер, укалывая Золя в самое больное место.

Золя болезненно поморщился, и уши его начали постепенно, но упорно краснеть, а Флобер обратил- ся к Тургеневу:



– Тургенев, вы еще можете раскутиться на бутылку с той же пробкой?

И Тургенев, слегка довольный, что побрили ученого, молча показал гарсону на пустую бутылку и на ведро с горячей водой.

Тургеневу служили первоклассно, без слов, по намекам. Флобер жадно смотрел, как гарсон отбивает штопором печать с лиловой каплей сургуча, как извилисто вытирал горлышко накрахмаленной, поблескивающей салфеткой, как дымилась свежая горячая вода в ведре и как она уступала место осторожно опускаемому телу почти непрозрачной бутылки. Потом все это спряталось у него за напряженным лбом и, чтобы скрыть свое профессиональное прегрешение, он спросил у гарсона:

– А салат кто нынче заправлял? Гастон?

– Гастон.

– Вот и спрашивать не надо. Сразу чувствуется Гастон. По горчице слышно. Горчица – вот гвоздь салата. По листкам нужно высчитать. Сосчитать листки и отмерить. Это еще в «Дижоне» понимают.

Лакей наливал вино в стаканы, и Флобер сказал:

– В полдень, когда солнце на вершине, в струе вина можно различить шесть оттеков рубинового цвета. Золя, скажите химическую формулу вина?

Тургенев смотрел на этого толстого усатого француза и отдыхал душой: так все было просто, человечно и далеко от Достоевского. Да, вино, опьяняющее легко, постепенно, не бьющее по мысли кнутом, как водка; веселящее сердце, вносящее остроту в ум, добро в сердце, лукавыми кошачьими прикосновениями расшатывающее логику, недоверчивое даже к таблице умножения. Как хорошо здесь, за тридевять земель от Рассеюшки, от шуб и калош, от Иван Александровичей и Федор Михай-



ловичей, с их то государственной службой, то каторгой. Вот два французских писателя: горе одного в том, что не дают Почетного Легиона, горе другого – не дают пенсии в пять тысяч и это – несмотря на знакомство с министрами, с самим Барду...

– Да, Тургенев, – сказал вдруг смешливо Флобер, – тысячу раз хотел вас расспросить, да все забываю. Вы ведь были рабовладельцем. Вы что ж ваших мужиков выводили на рынок, как в Тунисе, подстегивали кнутом, сбывали залежалый товар, какунибудь там старую бабу с грыжей или кистой, а? Опишите мне чувства рабовладельца – это же интересно, черт возьми! Это же бамбуля-бамбуло!

И Флобер звонко прищелкнул сухим, трескучим пальцем.

– Золя, черкните в вашу книжку: бамбуля-бамбуло. Я не знаю, что это такое, но ведь это же кафешантан, Тереза, это – весело. Да, чуть не забыл, Золя. Что это за бон-ом у вас был на прошлом журфиксе, когда был некто, от коего зависит ваше продвижение в ранг шевалье, а он, бон-ом, вдруг заскучал, вспотел и, заявив: «жарковато», снял пиджак. Так-таки при дамах снял пиджак. Золя – сквозь землю, как Мефистофелес в опере. Золя, это недипломатично, не видать вам Легиона, как своих ушей. Нельзя же так. Неуважение к основам. Чудаковатый такой, откуда вы его выкопали? Художник, кажется?

– Да, – неохотно ответил Золя.

– Талантлив?

– Бездарен.

– Что он пишет? Чертей?

– Пейзажи.

– По-моему, в нем есть поэт. Ни одного мазка не видел, а вот поэт. Как зовут его?

– Сезанн.

– За здоровье Сезанна! Не хватает вина на третий стакан. Ах, если бы рабовладелец не был бы так дьявольски скуп! Или если бы я получил свою пенсию! А то... Эрнест Доде, высокочтимый и всеми уважаемый Эрнест Доде... Вы, Тургенев, знаете Эрнеста Доде?

– Знаю, – ответил Тургенев.

– А вы, шевалье, знаете?

– Знаю, – ответил Золя.

– Гарсон! – крикнул Флобер и опять звонко щелкнул пальцами. – Принесите свежую бутылку и сверток из моего пальто.

Скомандовав, Флобер впал в молчание и рисовал по скатерти какие-то узоры. Когда палец его натыкался на хлебную крошку, он ловким движением посылал ее в потолок, следил, куда она падала, и вздыхал.

Лакей принес бутылку и сверток трубкой. Флобер, сопя, вялым пальцем, вытягивал из отверстия трубки газетную бумагу. Извлек рукопись, два раза раскатал ее в обратную сторону и вдруг исследовательским тоном, легши грудью на стол и защищая рукопись, враждебно спросил:

– Почему вы так подозрительно смотрите, Золя? Это – моя «Феерия», и ее мне сегодня возвратил Эрнест Доде, как непригодную к печати. Это вас удовлетворяет, Золя? Ну, вот и все. Вино обратно. Не хочу. Едем на спектакль. Нас ждут.

И Флобер, шумно отодвинув стул, встал из-за стола. Немного подумав, сказал:

– Снять пиджак, что ли? – и по-детски улыбнулся.

Пока Тургенев расплачивался по счету, Флобер тихо говорил Золя:

– Слушайте, Золя. Выньте вашу записную книжечку и напишите: «Проверить. Когда человек зада-



ет много вопросов и не ждет ответов, то этому человеку скоро умереть». Если это так, пришлите мне ответ на тот свет. Это тем более удобно, что не нужно почтовых марок. А потом, конечно, придумайте всему этому научное объяснение.

Зажав в руку два франка на гардеробщика, к ним подошел Тургенев. Через две минуты, покачиваясь на старых рессорах, они ехали к тому дому, где должен быть игран спектакль.

II. Репетиция

Поехали на набережную Вольтера, там, в мастерской художника Лелюара, была назначена последняя репетиция, в костюмах.

Тургенев и Флобер сидели в кузове, а Золя поместился на выдвинутой скамеечке и был похож на воробья в дождик, и этот вид ему придавало пенсне с полинявшим шнурком. Каретку подбрасывало на плохо пригнанных булыжниках, и от этих толчков Флобер блаженно улыбался.

– Я понимаю Людовика Восемнадцатого, который после обеда заставлял возить себя по вспаханной земле, – сказал он, – ничто так не служит пищеварению, как эта гимнастика.

Лошади шли тихо, по стеклам струились стройные полоски весеннего суетливого дождя, а в каретке было сухо, под ногой – ковер, уютно, пахло молодой молью и вытершимся до бельма бархатом, – и только Золя морщился, не умея приладиться к скамеечке. Фонарный газ еще не принял совсем вечернего синего цвета, зонты блестели как цилиндры. Кто-то из знакомых в России собирался в Париж, и Тургенев думал: «Не забыть написать, чтобы захватили зонты». Его слегка раздражала предстоящая репетиция, впрочем, с волками жить – по-волчьи выть.



Мальчишка Ги де Мопассан (неплохо для подписи) задумал сочинить коллективную пьеску, собрал всяких ракалий и все вместе что-то сварганили под Рабле. Название пьесы никакого отношения к содержанию не имеет: «Турецкий дом». Сам Ги, приняв идиотский псевдоним Жозефа Прюнье, играет роль уличной феи. В режиссеры пригласили Флобера и его, Тургенева. Пьесы Тургенева игрались там где-то на морозе, в Петербурге, и потому Тургенев должен быть режиссером. Мало того, он должен показать Жозефу Прюнье, как ведут себя уличные феи. – «Да я их никогда не видел». – «Молчите, шалунишка, знаем, как вы (вы – курсивом) их никогда не видели!» – Начнешь показывать, а Жозеф Прюнье вдруг задумается и спросит:

– Тургенев, почему у вас такой тонкий голос?

Мальчишка с затаившейся сифилитической наследственностью, добра не выйдет, и Флобер втайне об этом здорово беспокоится. А тут Стасюлевич придумал: «Сенилиа». Сенилиа! Только профессорская голова могла вдруг, ни с того, ни с сего, ткнуться к латинскому языку: не то от Овидия, не то от Вергилия – пришей кобыле хвост. Спорить? Не стоит, а то еще чего доброго возвратит, как Флоберу. Скоро вообще все провалится к чертовой матери. Больше всего жаль этого прекрасного и уютного города, весеннего дождя, цоканья копыт, посапывания Флобера и, пожалуй, этого мальчика-с-пальчика Золя: в России он служил бы в земской управе и в своем пенсне прививал бы мужикам оспу.

Когда проезжали мимо палаты депутатов, Тургенев, проявив большую подвижность, выглянул вверх окна. Флобер и Золя поняли это движение, одновременно взглянули друг на друга и по-заговорщически улыбнулись. Тургенев посмотрел на окна третьего



этажа. Зеркальные стекла, в крестообразном разрезе, были темны.

– Строго воспрещается высовываться в окна, – кондукторским тоном сказал Флобер, косясь на Золя, и Тургенев понял, что движение его разгадано.

– Едут три паука в банке, – притворно сердито ответил Тургенев.

– Кстати, если не ошибаюсь, тут где-то неподалеку живет Полина Виардо, – продолжал в студенческом притворно-невинном тоне Флобер.

Тургенев продолжал сердиться только потому, что это нравилось Флоберу. В глубине души ему нравилось, что этот человек знает все тайны его: это говорило о настоящей дружбе и именно в том смысле, как ее понимают французы, – это было «копэнтство», и Тургеневу казалось, что совсем недалек тот момент, когда можно будет перейти на «ты». Сказать: «ты, Флобер», услышать: «ты, Тургенев», – какое это счастье, это лучшее, что есть на земле, конечно, после любви к Полине.

– Вы не знаете, Тургенев, почему идут квартиры в этом квартале? – все тем же студенческим тоном, косясь на Золя, спрашивал Флобер, показывая вид, что вот-вот прыснет.

– Этот квартал слишком сыр для вас, Флобер, – притворяясь искуснее его, сердито отвечал Тургенев, – близость реки, обилие эстаминэ. (Тургенев с особым удовольствием выговорил слово, которое ему почему-то нравилось.)

– Вы боитесь, что я сопьюсь или?.. Или?..

– Приехали, приехали, – притворно-обрадовано сказал Тургенев и засуетился, чтобы вылезть. Расплачиваясь и отвернув у кармана шубу, он смотрел на Флобера, вылезавшего, как из ямы, и не без удовольствия подумал, что французы редко по-настоящему умеют вылезать из кареты.



От лошадей, политых теплой дождевой водой, струился вверх пар, густой и пахучий.

Долго стояли у ложи, потом Флобер снял пальто и пошел первый, отрывисто хватаясь за перила. Тургенев шел сзади и видел его по-детски стоптанные каблуки. Золя надвинул пенсне на самые глаза и смотрел в верхнюю частицу стекла. На первой площадке Флобер снял сюртук и сказал:

– Скоро начну дышать, как лошадь, берегитесь копыт. Вам, Золя, нельзя такой вольности, не дадут креста, а вас, Тургенев, не понимаю.

– Мне не привыкать, – ответил Тургенев, – я для своих соотечественников снял помещенье на окраине и тоже на пятом. Привык.

– У вас же грудная жаба!

– Спасибо за память.

Флобер рассмеялся и пожал Тургеневу руку.

– Старость зла, зла, – сказал Флобер. – Не сердитесь, Тургенев, это я от зависти, что умру раньше вас. Шестьсот писателей получают пенсию, а мне не могут дать трехсот франков в месяц. Вот тебе и мадам Бовари.

К Лелюару Флобер вошел в цилиндре и во фланелевом жилете, и это вызвало взрыв энтузиазма, и его встретили, как архиерея. Больше всех бешновался Жозеф Прюнье, крепкий, широкоплечий, по-нормандски скроенный мальчишка, у которого недавно окончательно переломился голос. У него прорастали черные жесткие усики, волосы были с кошачьим электрическим отблеском, глаза – лихорадочно-беспокойные, со зрачком, занявшим почти всю радужную оболочку.

– Тургенев, молитесь вашему русскому Богу, чтобы ваш ученик не провалился, – сказал он. И вдруг другим тоном, актерским, добавил: – Вы христиа-



нин? Правда, что у вас есть дочка? Большое приданое? Вы принц?

Флобер смотрел на него влюбленными, всепрощающими глазами и тем же взглядом испытывал Тургенева: не сердится ли? Тургенев взглядом же ответил: «Но это же мило, это же полиссон!»

– Мопассан, – сказал Тургенев и не окончил...

Мальчишка сделал испуганные глаза и зашептал:

– Я не Мопассан, не Мопассан, я – Прюнье, Жозеф Прюнье...

– Ты стыдишься актерства? – строго и притворно по-игуменски спрашивал Тургенев.

– Нет-нет, – торопливо и тоже притворно испуганно отвечал мальчишка, – но это для матери. Мать не хочет, чтобы я соблазнился актерством, мать боится, мать плачет... Тише, тише, слезы матери и я, несчастный и беспутный сын на дурной дороге. О, слезы матери, эти слезы бедных матерей. Глаза мои увлажнены...

И мальчишка, стряхнув воображаемый платок, вытирал воображаемые слезы. Флобер смеялся до слез, и в потертом цилиндре, во фланелевом жилете, выпятив тугой живот, походил на ярмарочного директора, – и как это было хорошо, уютно, у себя!

У дверей поиграли в трусость: кому войти первому в театральное помещение. (Все и всё время играли, не играл только Золя, и потому казалось, что он без грима.) Флобер подтолкнул Тургенева и тот, русским жестом пригладив голову, пошел первый и был встречен аплодисментами. Молодежь, барышни, кое у кого руки – потные, керосиновый запах усиленно-отпущенных ламп, на стенах корявые барельефы, мольберт с перевернутой картиной и крестообразным подрамником. Тургенев наступил на

воск и потом все время приклеивался к полу правой ногой. Перед сценой висит занавеска, не скрывающая углов, на занавеске – золотые птицы, – что-то от японского. Стулья – с соломенными сидениями стоят вкривь и вкось, все веселы и раскраснелись, пьют воду, стакан залпом, глаза – вверх.

– Господа, господа, – закричал Флобер, – знаете, кто завтра набивается на спектакль?

– Кто? Кто?

– Принцесса Матильда! – нарочитым погребальным басом, по-церковному, пропел Флобер.

– А-а-а! – завопило собрание, и громче всех – Жозеф Прюнье.

– И знаете, знаете еще что? – своим обычным тоном провозгласил Флобер.

– Что? Что? Что?

Флобер снова напрянул шею, сделал обеими руками прикрывающий жест и опять церковным басом ответил:

– Она приедет в маске!

И все грохнули, всем понравилось.

Тогда Флобер снял цилиндр, сделал церемонный общий поклон, сел верхом на стул и цилиндр поставил на пол. Тургенев по-хозяйски хлопнул в ладоши и тоненьким голосом крикнул:

– Репетиция начинается! На сцену! Не шуметь! Дисциплина! Суфлера вон! Внимание!

Жозеф Прюнье уходил последним, по-женски (из роли) шевеля бедрами и, перед тем как скрыться за занавеской, сделал Тургеневу детский реверанс, оттянув двумя пальцами воображаемую юбку.

Лелюар, в берете и бархатных штанах (с персидским мешком назад), подтянул на один угол занавес и обнажил другой. Хотел поправить дело – и не вышло. Безнадёжно махнул рукой, и все присутствующие засмеялись.



Тургенев был хозяином положения. Сам не зная почему, он посмотрел на карманные часы, спрятал их, почесал в бороде, все притихло, поправился на стуле и тихо, тоненьким голосом, сказал вопросительно:

– Занавес?

Стараясь скрыть ноги, Жозеф Прюнье отодвинул занавес, и все слышали, как кольца тащились по проволоке.

По ассоциации вспомнилось то волнение, которое охватило, когда первый раз видел «Месяц в деревне». И снова выплыла мысль о Савиной. Противоядие, неудавшееся противоядие. Ах, как хотел он в те времена избавиться от Полины, от смертоносного яда, но Савина, эта провинциальная актриса, с павлиньим голосом... И Тургенев в первый раз до конца понял, почему его тянет к этим, будь то Флобер или Жозеф Прюнье: в них есть частицы сладкого яда, гашиша... Вероятно, поэтому ему было нестерпимо, что дочь хотела учиться русскому языку. Яд, яд, сладкий смертоносный яд. В Орловской губернии сейчас начались ландыши. Так же сладок этот ландышевый яд.

Тургенев закрыл глаза и ясно услышал, как в левой руке сама собой продернулась нитка и начала медленно поворачиваться справа налево: утренний сон оказался в руку – открылись старые боли. Ну-ну! Держись, Иоанн Сергеевич.

На сцену, бульварно шевеля бедрами, в женской ярко-красной шляпе с птицами, но еще в брюках, медленно выходил Жозеф Прюнье. Медленно обвел присутствующих подведенными глазами и взял в рот розу.

III. Урок

Роли в «Турецком доме» были распределены так: Мише – богатея «содержателя» – играл Жорж



Мэрлль, Рафаэллу – Жозеф Прюнье, Фатьму – Одноглазый, Бофланкэ – Октав Мирбо, мадам Бофланкэ – Пти-Блэ, гарсона – Лелюар. Потом шли какие-то горбачи, капитаны в отставке, англичане – все было сумбурно, крикливо, малоинтересно и бездарно, но Флоберу нравилось. Он все время не спускал с Мопассана глаз, оглушительно хохотал и говорил Золя на ухо, но так, чтобы слышали все:

– Черт возьми, как это свежо!

Золя, не умевший лгать, кисло улыбался и, видимо, охотно ушел бы домой, но сидел и скучал, чтобы сделать приятное почтенным сотрапезникам.

Нитка в левой руке заворачивалась все круче и круче и Тургенев думал: «Будет бенефис». Он уже не рад был, что связался с этим спектаклем, сидел скучный и думал о русской молодежи: стала бы она сочинять такой спектакль? И сам себе отвечал: «Не стала бы». И почему-то на память пришли Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Тоже скукота и тупость, здесь хоть весело, смеются. И захотелось русского цирка – вот такого, какой видел на ярмарке в Орле: клоуны с их спорами на «бутиличка касторка», с холстяными круглыми шапками, и потом эти масляные лампы, по десять штук на качающейся платформе.

Все в этой тесной мастерской играло: глупое словесное месиво играло в театральную пьесу, бесстыдные мальчишки играли в актеров, Флобер играл в восторженного зрителя, он, Тургенев, играл в режиссера. Не играл и не хотел играть только Золя. Он исподлобья смотрел на сцену и, вероятно, думал: как зря пропадает время. От 9 до 12 он обычно сочинял полторы главы: как бы продвинулась за это потерянное время «Западня»!

Жозеф Прюнье выкинул бульварное коленце, и Тургенев не мог не подумать, какое счастье, что «Дворянское гнездо» не переведено на французский:



он бы со своей седой бородой выглядел бы в этом городе дешевого женского мяса дурак дураком, а если бы Лиза Калитина пришла бы в эту вонючую комнату и стала бы за его спиной? И, с игральной маской на лице, он весело взглянул на Флобера: тот понял, ответил ему взглядом и подмигнул.

Наконец репетиция окончилась, час освобождения был близок. И вдруг Жозеф Прюнье вышел на сцену и подал ладонью сигнал к молчанью. Все смолкли с лицами, готовыми мгновенно развернуться в улыбку.

Жозеф Прюнье восторженно начал:

– Как вы все изволили заметить, представление имело огромный успех: этим мы обязаны прежде всего вашей снисходительности, а затем мудрым указаниям таких мэтров, как Флобер и Тургенев. Вам, Тургенев, я обещаю, что первый свой лучший рассказ из жизни «этих дев» я посвящу вам.

Тургенев встал и низко иронически поклонился.

– Исполнится ваша мечта, старый шалун! – добавил смешливо Жозеф Прюнье и все в зале грохнули, а так как у Тургенева смех уже не выходил, то он только подрожал плечами, как старая цыганка перед пляской.

– Хи-хи, – продолжал Жозеф Прюнье, – теперь без излишней скромности скажу о нас, об актерах. Мы играли с такой же легкостью, с какой короли носят легко давшиися им ордена. Затем артисты доводят до сведения, что они пролили много талантливого пота, проголодались и ждут, что из этого печально-недоразумения их выведут великодушные жантийомы, оказавшие им честь своим посещением. Ах, как мы хотели бы видеть сейчас среди нас принцессу Матильду, хотя бы и в маске! Она многому и полезному выучилась у Демидова, сиятельнейшего и ще-

дрейшего князя Сан-Донато. Понявшим – салют! – И Жозеф Прюнье раскланялся, взмахнув шляпой с птицами так, как взмахивают в «Жеманницах».

Появилась скрипучая корзина с сэндвичами и вино в незапечатанных бутылках, и опять Флобер жевал, содрал с ветчины сало и высоко открывая рот, и опять вкусно пил вино, перемешивая его с мясом и хлебом.

– А кому из вас принадлежит в пьесе это великолепное место о любовном колдовстве? – лукаво спросил он, шепелявя от еды.

– Мне! – как в классе поднял палец Октав Мирбо.

– Ах, мошенник, – шепелявя сказал Флобер, – целиком спер у Лукиана, из «Диалогов гетер»!

– Совершенно верно, – ответил Мирбо. – но я ведь думал, что авторские права Лукиана принадлежат теперь всем, а потом – кто же заметит?

– Париж, батенька, не глухой лес, – сказал Флобер, – а из тебя, Мопассан, никогда актера не выйдет.

Мопассан сделал жалкое лицо, сложил молитвенно руки и спросил:

– Ну, а писатель выйдет?

– Сейчас проэкзамуем, – сказал Флобер и вытер руки о конец носового платка.

Рот еще жевал, язык вычищал за деснами, но глаза стали серьезные, в первый раз за весь вечер, и вдруг все неожиданно стихло. Этими серьезными глазами, у которых сделался какой-то особый воспитательный рельеф, он долго искал на потолке, на барельефах, то среди присутствующих, и вдруг остановился на Тургеневе, долго думал и вдруг сказал:

– Самое замечательное здесь, с точки зрения художественности, – волосы Тургенева. Вот, если ты писатель, сделай мне волосы Тургенева.



Мопассан нацелился взглядом в голову Тургенева и испытывал ее, как натуру. В глазах появился уголек, то сверкающий, то гаснущий, щеки зарумянились женским румянцем, уши налились кровью, концы пальцев задрожали, и было видно, как он глотает слюну.

– Серебристые...

– Это всякий дурак видит, – по-чревоушательски сказал Флобер.

– Мягкие и шелковистые?

– Плохо.

– Давно не стриженные и всей гущей опустившиеся на воротник.

– Немного лучше, но все-таки плохо.

– С залысинами вокруг мыса? Закрывающие левое ухо?

– Это всякая англичанка видит на уроке рисования.

– Тогда пасс, – обидчиво сказал Мопассан, – слагаю оружие.

Флобер посмотрел на него отцовским мягким взглядом, потрепал его по плечу и сказал:

– Волосы с волнистыми следами гребешка. Понял?

Мопассан хлопнул себя по лбу, наклонился, поцеловал ему руку, и Флобер не отнял руки.

– Приезжай в Руан, – сказал он ему, и вдруг Мопассан, у которого что-то сверкнуло в глазах, перебил его:

– А теперь, господа, продолжим опыт: давайте все разумея и посмотрим, у кого в каком состоянии ноги?

И как-то по-большому оцепенел от своих слов, и Тургенев ясно видел, как у Флобера на сотую долю секунды, метеором, пронеслась в глазах искра ужа-

са, а Золя с торжествующим огоньком, по-змеиному, мгновенно изменив весь свой облик, поставил голову торчком – и все нацелились на Мопассана.

– На, – сказал Флобер, – смотри.

И по-солдатски, зацепившись каблуком за носок другой ноги, легко снял башмак с разношенной резинкой.

– Вот состояние моей ноги. Белый шерстяной чулок, грубый, заштопанный розовыми нитками.

– И из дырки смотрит румяная мордочка пятки...

– Недурно, Ги, недурно, – ответил Флобер, – дешечка, но недурно. Слушай, приезжай в Руан и мы с тобой пойдем в кафе, в котором мадам Бовари назначала свидания.

– Ай-ай, как это интересно! – захлопал в ладоши Мопассан.

– Держит это кафе преинтереснейшая баба, о которой ты напишешь свой первый рассказ. Идет?

– Идет.

– А теперь отпустим Тургенева: он сидит, как на жаровне, у него начались боли.

– Правда, – ответил Тургенев.

– Идите в первый попавшийся отель и ложитесь.

– Я провожу вас, Тургенев, – порывисто сказал Мопассан, срываясь с места.

– Только по лестнице, осветите, – ответил Тургенев.

Со свечкой в руке Мопассан шел по лестнице и говорил сам себе:

– Шевелятся тени, пузатые перила, тень Тургенева похожа на черный мешок, ну а еще что, еще что? – с тревогой непонимания спрашивал он, – что еще, Тургенев, чтобы тут мог увидеть старый черт, а что видите вы, Тургенев, вы тоже большой писатель?



– Вижу смерть в углу, – ответил Тургенев.

Мопассан остановился, как вкопанный. Подняв высоко над головой свечку, спутав тени, сделав прозрачным свое лицо и неправильно осветив Тургенева, он с испугом, снизу вверх, смотрел на него и остановившимися глазами, полными солнечного блеска, спрашивал:

– Где смерть? Где ты ее видишь? В каком углу? Не врешь ли?

– Идем дальше, – сказал Тургенев, – я пошутил.

– Смерть имеет физический облик? – не двигаясь с места, спросил Мопассан.

– По-моему, да, – ответил Тургенев.

– С косой, с беззубым ртом?

– Вероятно.

– Она зла, смерть?

– Не думаю. В ней есть что-то от бухгалтера.

– У вас все в России такие веселые старички, как вы?

– Все.

Пошли дальше, и Тургенев с улыбкой заметил, что Мопассан стал идти таинственнее, свечу поднял еще выше, а голову стал вытягивать длиннее, приглядывался к углам.

– Вы часто в день причесываетесь, Тургенев? – опять остановившись, спросил он.

– Раз десять, – ответил Тургенев.

– Раз десять? Зачем так много? Вы кокетливы?

– Нет, просто массирую кожу.

– Массируете кожу? А это зачем?

– Чтобы не падали волосы.

– У вас, действительно, прекрасные волосы. Лучше, чем у Листа.

На набережной было тихо и прозрачно. Весь Париж принадлежал одному Иоанну Тургеневу. Просве-



тившееся после вечернего дождя небо, обновленная вода в реке, остатки холодняка в воздухе, прозрачные на фонаре молодые листья, елки на каштанах, надгробные плиты тротуара, – все это призраки, призраки. Тургенев прислушался к себе: еще стучит. Если Стасюлевичу послать рассказ с заглавием «Стучит» – непременно исправит и напишет по-латыни. Флобер хоть и щегольнул мастерством, но на четыре с минусом. Нужна пенсия.

Вот отель. Постучимся. Дернем ягоду звонка.

В окне вспыхнула спичка, и басовито закашляли не от болезни, а для услышания. Затрещал людовико-филипповский замок, высунулась помятая (Почему помятая? Неправильно любил Гоголь.) физиономия.

- Комнату.
- Вы с девочкой?
- Нет.
- С дороги?
- Да.
- Багаж?
- Нет багажа.
- Деньги вперед.
- Пожалуйста.

И сорокалетний человек, так же, как Мопассан, подняв над головой свечку, пошел, подобно Вергилию, вперед. Попугать бы и этого смертью: не испугается. А впрочем, как знать.

Когда шли по первому этажу, чуть приоткрылась какая-то дверь, высунулась хорошенькая и наглая головка, окатила тургеневскую шубу насмешливым взглядом и серебристым голосом сказала:

– Добрый вечер, Лулю!

«К кому это относится? – подумал Тургенев. – Ко мне или к Вергилию?»



IV. Белая ночь

Тургенев, как был, в шляпе и шубе, опустился в кресло и в этой позе застыл. Патрон зажег свечу, поставил ее посередине стола и ожидал, не будет ли распоряжений. Вид этого грузного старика (и не француза) его беспокоил. Это – не клошар и не буржуа (уж если бы буржуа решил сбежать от жены, провести ночь в отеле, то ясно, что он был бы с девочкой). Это – пожилой человек, лет на 65, видимо, усталый, – но, отчего: от выпивки, от плохого пищеварения, или, быть может, просто от жизни? Когда собака решает подышать, то она уходит из дома: так, может быть, и этот папаша? Не его ли этот случай, черт возьми, клянусь святым Патриком? (Клятва, заимствованная от шотландца, который так и не заплатил за три недели.)

– Мсье, может быть, желает чего-нибудь?

– Да, – ответил Тургенев, показывая глазами на пустой графин, – будьте добры, принесите свежей воды.

«О-ля-ля-ля, – мысленно запел гостиничник, – свежей воды, знаем мы в истории примеры: это никак дядя травиться хочет и по старой привычке ищет свежей воды, как будто для яда не все равно, свежая или несвежая. О, черт возьми, веселенькая ночка! Надо на всякий случай спросить паспорт: в случае чего с полицией меньше дискуссий».

На лестнице было темно и скользко, была угроза упасть и разбить стекло: гостиничник спускался медленно, ступая левой ногой вперед и ощущая на перилах потрескавшуюся краску.

Дверь в номер осталась неприкрытой, и Тургенев с внезапно его обуявшим ужасом не увидел, а скорее почувствовал, что в комнату что-то вошло,

блеснув на пороге чем-то огненным и жутким. По телу пробежала дрожь. «Фриссон», – сказал сам себе. Крыса? Крыс он боялся до ужаса (наследственное). Остановившимися глазами он смотрел впереди себя и, мысленно отсчитывая доли секунд, ждал пошедшего за водой, черт его задери: русские слова стали просачиваться с легкостью.

И вдруг что-то шаркнуло на колени: котенок, маленький. черненький котенок, как лет тридцать тому назад в Куртанвенеле, в этом упоительном имени Полины. И сразу предстал вечный спор: любила или нет? Конечно, любила: стала бы латинянка давать ложман и нурритюр (почти всегда бульон и омлет) какому-то неизвестному русскому, без гроша в кармане, с какими-то фантастическими надеждами при мамаше, которую ни об какую дорожку не расшибешь, – и Тургенев вдруг и остро обрадовался черному куртанвенельскому котенку.

Котенок, тепленький, с розовым влажным носиком, со смешными фельдфебельскими усами и ростовщическими бровями, нюхал (деловито) его шубу, добирался до мехового воротника, мурлыкал по-ночному, на всю комнату, хвост поставил прямым вервием, слегка царапался нежными. еще неотшлифованными ноготками, вел себя так, как будто Тургенев был его подчиненным. «Вот этот барбос принесет воды, положу котенка на больную руку: счастливая мысль, – думал Тургенев, – так лечились от ревматизма старые бабы в Орловском».

Барбос со страшным шумом и истерикой поднимался по лестнице: тяжело дышал, сопел, свистел глоткой и делал всякие низости в рассуждении пурбуара. Наконец, он появился в номере и произнес несколько ядовитых замечаний по адресу котенка, в замечаниях было даже нечто ревнивое.



– Мсье желает дать мне несколько незначительных сведений для утренней полиции? Какой национальности мсье? Русский? Так и знал. Мсье – писатель? В такие годы? Я полагал и полагаю, что писательство – мальчишечья забава, конечно, если ваша фамилия – не Расин и не Виктор Гюго. И вообще, писательство – бедная профессия. Не в смысле денег, а в смысле воображения. То есть? То есть, очень просто. У писателя есть только два соуса: стихи и проза. Какое же это меню? Далеко не уедешь. А я бывший (увы, бывший: от плиты теперь – смертоносные головокружения) повар, беру яйцо, зелень, дичь и дам к ним сотню соусов. Урбэн Дюбуа (если бы вы не были больны, я предложил бы почтить его память вставанием), мог приготовить омлет в ста двенадцати видах и цыпленка – в восьмидесяти. С вашего позволения, это не проза и стихи. Не писатель тренирует человеческое воображение, а повар. И вы думаете, кому-нибудь из правительства пришло в голову поставить памятник французской кухне? Ставят памятники только людям, которые убивают, но не тем, которые кормят. Вы меня поняли? За комнату – три франка, и за свечу – двадцать сантимов, свечи чертовски дороги. Покойной ночи.

«У старика в кошеле денег много», – подумал он и снисходительно добавил:

– Котенка оставляю вам, хотя веселому человеку на ночь полагается небольшой клубок, не кошачьей, а женской шерсти, но, увы, если спрашивают, что такое смерть, я отвечаю, как на исповеди: это, господа, время. Смерть – время. Два слова, коротко и ясно. И споры – недопустимы. Безумен тот, кто выдумал поговорку «Время – деньги» Неправда: время – смерть.

И, уже у самой двери, он, значительно блеснув глазом, поднял палец.

– Святой Дух! – тихо сказал Тургенев и подумал: – «Где же в России я найду такого гостиничника и кто же скажет: «Ах, Тургенев, Иоанн Сергеевич, зачем вы жили не в Ротах, а в Буживале?» А теперь, мэтр Флобер, сделайте одиночество. Пролейте ваши соусы».

И, действительно, во Флобере было что-то поварское: одутловатые щеки, усы, торчащие от долголетнего бритья, брюшко и вечно нацеливающийся глаз.

Котенок задремал, и Тургенев ласково сказал: «Васенька».

В словах экс-повара была какая-то истина. Будем, однако, бороться со смертью. Тургенев просунул руку за шубу, добрался до жилетного кармана и достал оттуда порошок, приготовленный в буживальской аптеке. Какая-то острая малиновая пыль. Опрокинул эту пыль на высунутый язык и запил.

Пыль задержалась у входа в горло, сделав горечь, но потом, за водой, прошла, вызвав на глаза слезы. Котенок недовольно смотрел снизу вверх, потому что не было покоя. Тургенев погладил его, и он сейчас же вылизал поглаженное место: грязи, после человеческой руки, не должно быть. И опять, свернувшись подушечкой, задремал.

В шляпе и шубе Тургенев должен был просидеть всю ночь, по возможности не двигаясь: таков устав болезни. Боль расшивала узоры, укалывая то по прямой линии, то прохаживаясь зигзагами. О, как это не похоже на московскую подагру! Тургенев, усмехнувшись, вспомнил, как много лет тому назад он не хотел ехать в Малый театр на премьеру «Провинциалки», потому что в пульсе было восемьдесят ударов. И писал об этом во Францию, мадам Виардо и, вообще, из этих пульсаций делал гран-па. И Виардо, злющий ревнивый Виардо, демонстративно говорил:



– Только люди второго сорта хвастаются нелюбовью к своей родине и слишком заботятся о своем здоровье.

Странно: когда вовремя не остановишь пароксизма и боль начинает сжимать как зубами (зубы голодной смерти), тогда говоришь: «Боже мой!» Имени матери не призывал никогда. «Боже мой!» Надеешься на Божью доброту. Но в доброту Тургенев верил слабо: это началось в Спасском, когда увидел схватку ужа с жабой. Тогда в первый раз зародилось сомнение в благостности Провидения. И потом – собственные радости при виде окровавленного вальдшнепа, радость в собачьих глазах, когда птица, истекающая кровью, бьется в твердо сжатой, беспощадной пасти. Какая уж тут благостность! И, если бы этот котенок был съедобен, повар не оставил бы его тут: он съел бы его в одном из двухсот соусов. А котенок дышит, наслаждается сном, видит сны, перебирает лапками, куда-то идет, пошевеливает ушками, что-то слышит, быть может, волшебное, из своих сказок. Может, видит свою Полину Виардо, может быть, есть и мсье Виардо, переводящий кошачьего «Дон-Кихота».

В комнате пахло старой засохшей мыльной пеной, клейстером отсыревших шпалер, неочищенной холодной золой и тем особым парижским запахом каменных домов, который есть всюду, начиная с Тюильри. Горит свеча, поблескивает гравюра с треснувшим посередине стеклом, отчетливо прозрачна в графине вода. Кровать, которая видела преступлений больше, чем плаха...

Вдруг котенок по-детски вздохнул и пробормотал что-то во сне. Тургенев поскреб ногтем по креслу. Котенок не проснулся, но беспокойство коснулось его уха. Ничто не изменилось в его позе, но ушки застыли, и дыхание стало ровным и наполовину тише.



Тургенев царапнул еще раз, не спуская глаз с котенка, и котенок сократил дыхание еще: он не открыл глаз, но уже не спал: дыхание подчинялось воле. Тургенев поцарапал другой манерой, более протяжной, мышцы успокоившейся, серьезно проверившей опасность. И тогда котенок слегка шевельнул ушками. Но вот мышь решила, что она вне опасности: вышла из норки и чуть прикасается к полу лапками. И тут котенок открыл правый глаз, взглянул на Тургенева, проверяя, что он думает по этому поводу. Тургенев думал, что котенок переживает все ощущения подлинного охотника. Охотник стоит за деревом на тяге и не дышит. Котенок тихо шевельнулся, отодвинул от лап хвост, проверил аппарат когтей – выпустил и спрятал: машина изумительная и безотказная. Котенок наставил ухо в ту сторону, откуда слышался звук, и сердце его билось так крупно и отчетливо, что было слышно коленям: «Что будет дальше? Зря заряда тратить нельзя. Нужно выйти только на верное дело, чтобы не было ни смеху, ни осечки». Котенок взглянул на свечу, чтобы, вероятно, оценить силу света или проверить, где сильнее тень. Потом опять посмотрел на Тургенева, не выяснив до конца той позиции, которую тот сыграет в дальнейшем течении событий. Но за всем этим царапанье прекратилось, и, быть может, все это мираж, сонная дрема? Котенок посплюнул лапку и протер глаза.

«У Толстого старик Ростов в это время выцедил полбутылки бордосского, промазал выстрел и был кровно изруган за это собственным же мужиком. Как хорошо и как смело сделано: я никогда не пошел бы на такую деталь, дерзания нет, в таланте – не полная проба. А у того глаза – как присосок осьминога, неприятные глаза. Лучше все-таки любовь Полины, чем такие глаза».



Котенок распоясался, потерял веру в случай и лизал брюшко. Тургенев сделал вызывающий царапающий жест, и котенок остро поймал его на этом движении, и, вероятно, как толстовский мужик, выругал его суровой охотничьей бранью и, моментально прекратив ненужное мытье, грубо и бесцеремонно потолкавшись в колени, залег спать с таким видом, что его больше на этих штучках не проведешь. Тургенев искренно и благодарно засмеялся и погладил у него под шейкой. Котенок сделал движение головой: «Не лезь. Отстань. Не морочь голову». И притворился, что мгновенно заснул и даже начал подсапывать.

«Такого мальчика не могло создать благое Провиденье, над этим механизмом поработал Чернобог, как поет Глинка», – подумал Тургенев.

Боль разворачивалась, уже не пряча когтей. Боль привычная, со всеми знакомыми хватками. Тут и иголочки, тут и щипчики разных мастей, тут и напильнички, тут и легкие сверла – хороший и четкий инквизиционный набор.

Тургенев всю жизнь испытывал пульс (как хорошо, что об этом не знал Федор Михайлович). Тургенев с ошибкой только на одну сотую мог без секундной стрелки угадать цифру пульсаций. И теперь, приложив палец к пульсу, он определил восемьдесят, как в тот зимний московский вечер, когда, в Малом театре в первый раз шла «Провинциалка». Это значит, что заряд боли продержится еще часа два, «боль будет не до реву», как говаривала нянька, но все-таки доброго и ясного наполнения, терпимого, но надо сидеть и не двигаться. Во всем виноват сильный завтрак и, может быть, спаржа, а, может быть, и стакан вина, вызванный спешным, острым ресторанным подогреванием. За такое подогревание метрлотели краснеют и жалуют вино, как баранчика, из которого зря выпустили



много крови. Вот еще чувство, в котором, при всём желании не усмотришь следов благого Провидения.

И эта ласковая кружевная боль руки: о, как она придумана и как она разработана! И благодати тоже не ищи. Тургенев любовно слушал свою боль: какие детали, какие неожиданности, какая артистичность, какие большие буквы, какие новые строки, с каким чувством меры сделано нарастание. Стихотворение в прозе, и на этот раз, действительно, «сенилиа».

Флобер, сделайте одиночество.

V. Гамлет без Офелии

А может быть, она и в самом деле, в углу?

Свет располагался по комнате не ровно: красно-желтым букетом вокруг ствола свечи и постепенно затушевывающейся темнотой к углам. И почему смерть должна быть в углу? Она может стоять сзади в ожидательной позе. Она, как экзаменатор, может вольготно расположиться в кресле. В смерти есть очень много от экзамена: а что хорошенького вы изволили сделать в вашей жизни, милостивый государь?.. Люди очень снисходительны к умершим: или хорошо, или ничего. Это – не по доброте и не по великодушию, а просто из-за страха перед покойником: а вдруг явится в ночи и начнет защекотьывать?

Странно, по мере годов, прежнего ужаса перед смертью уже не ощущалось – того ужаса, московского, когда восемьдесят пульсаций казались краем могилы. Природа защекотьывает жизнью, и могила кажется постелью. Так день утомляет трудом и суетою, и гроб без стенок и крышек, именуемый кроватью, кажется желанным. В последнем случае нас ожидает пробуждение – ну, а там? Что будет там, почтеннейший Иоанн Сергеевич? Как ни вертись, а малиновый порошок – не ладан, и им смерти не потребишь, она



придет, тяжкий естества чин, и к вам, и к этому контенту. И что вы там ни говорите, но одна нога – уже в яме. Разве так работает мозг, как прежде, разве так неутомимо тело? И пульсаций не восемьдесят, а девяносто, и ничем этого не снизишь. Как лунатик, вы ровной дорогой идете к вашей яме, и уже давно качается то дерево, из которого вам сошьют деревянный халат. За жизнь вы съели тысячу быков, тысячу баранов и телят, и вот, чтобы спрятаться в яме, нужно будет заколоть это прекрасное дерево, весело и безмятежно живущее на воздушном просторе. Кроме быков, баранов и телят, вы и его, прелестное и безгрешное, потянете гнить в мерзлую землю. Как вы сложны и обременительны!

Прекрасно. Что же будет с вами, когда в последний раз вылетит из груди последнее дыхание ваше? Говорит об этом с точностью только один ваш поп, отец Николай, которого вы дальше кухни никогда не пускали, ибо вы – просвещенный барин, а он – семинарист, не «окончивший». За вами – богатство, крепостные рабы, которых вы могли драть, которые работали на вас, за вами – понимание Бетховена, знание «опусов» по номерам, за вами несравненный литературный талант (теперь, правда, дальше «сенилия» не хватающий), за вами – превосходное знание языков: французского, немецкого и английского. Вы так чутки и тонки, что не можете без отвращения жить в России, ездить по ее «укаби», как зовет Полина ухабы, вас раздражает русская неустроенность, дикость, хамство, провинциализм петербургов, кухня, снеговых дорог, потуг к искусству, и не так давно вы сами сказали, что вы знаете русское паскудство и не знаете русского искусства.

Что стоит за попом из четвертого класса, не одолевшим бездны, который в пояс, униженно, кланяет-



ся вам? За ним стоит Библия: сборник самых талантливых книг, из читанных вами, более талантливых, чем книги даже ваши, – надо иметь вкус в этом признаться, и вы признаетесь. За ним стоит Бетховен, который признавал то, чего вы не признаете. За ним – Рафаэль, Перуджино, Данте, Мильтон, вдохновенные архитекторы римских, московских, миланских, флорентийских, киевских соборов – без веры таких не выдумаешь. За ним, за отцом Николаем, во всяком случае, кое-что есть. Что же он, отец Николай, «знающий», может сказать, что будет с ним, Иоанном Сергеевичем, как только отлетит последнее дыхание? Не надо верить (хотя в это верил Бетховен – не дурак и не размазня), но можно послушать.

Прежде всего с последним вашим дыханием из вас вылетит чистая и бессмертная душа ваша. Предположим, что она имеет вид той маленькой девочки с большими глазами, как рисуют в русских молитвенниках. Девочка в течение трех дней и ночей будет оставаться около вашего тела, около той темницы, в которой она сейчас живет и из которой с таким восторгом вырвется. В течение этих трех дней, пока еще не окончательно покинула вас душа ваша, вы, потеряв все чувства, сохраняете еще слух и понимание. Вы услышите, что скажет Полина, и заплачет ли она? Вы услышите, что скажет Виардо, те русские, которые, конечно, припрут во главе с Боголюбовым. Да!.. Вы забыли самое главное: вас же, прежде чем положить на стол (вас, наверное, оставят в кровати по местному обычаю), вас должны обмыть. Какие руки вам предпочтительны: французские или русские?

Тут Тургенев зашевелился так, что разбудил снова котенка. Кровь осталась кровью – и одна мысль о том, что к нему прикоснутся чуждые руки, заставила его продрожать мелкой и зыбкой дрожью. Обмыть



должны только русские руки, и как об этом не подумал раньше, как мог пропустить в последнем распорядительном письме «на случай смерти»? Нужно немедленно, наступающим утром, прописать это на первом месте, чтобы наши обмывальщиц на церковном дворе в улице Дарю: там такое братство есть и водятся, наверное, суетливые старухи, похожие на ведьм из «Макбета». Но только они, только они!.. Полцарства за этих старух!

От волнения снова успокоилась боль в левой руке – боль-повестка, фонарь с того света. И, если бы к этим старухам прибавить еще воды из русской реки или колодца, или ключа, но вода будет из буживальской Сены, мягкая, с отбросами Парижа – этого не изменишь. И если бы еще у изголовья – чтение псалтыря по-славянски, но против этого завизжит Виардо, не желающий дать ему последней радости величайшей земной поэзии. Вообще, он будет визжать и против панихиды, против хора, против французских хористов, которые будут петь молитвы с акцентом, механически, не понимая смысла. Будет визжать против свечей, против восковых капель на полу, против цветов, против заслеженных ковров, против нигилистов. Но как он будет рад, когда траурный вагон уйдет с Северного вокзала! Он окурит дом можжевельником, потом серой, чтобы ушли русские клопы, он помолодеет, пострижет бородку и с новыми силами сядет за бездарный перевод «Дон-Кихота».

Под польку остриженный, щеголеватый посольский поп, не донося до лба крестного знамения, торпливо пропоет на перроне сокращенную литию, тронется поезд, и машинист спиной, с неприятностью, почувствует гроб. В Эйдкунене перенесут в русский состав. Тело начнет сдавать, и только в бороде останется жизнь, как у кота – в хвосте. Борода будет уси-



ленно расти, и в Петербурге, если поднимут крышку, увидят царя Додона. В мертвом теле останется одно: жажда земли. А там – похороны, приставы, взволнованные студенты и шепот Салтыкова: «При жизни сам себе устраивал орации». Потом – мерзлые комья, первая темнота и восторженные черви, только съевшие купчиху. Ах, как были правы русские цари, принимавшие схиму: четки в пальцах, белые надписи на одежде. И вдруг... И вдруг придут ведения, которых так боялся Гамлет?

– Ха-ха-ха! – рассмеялся Тургенев. Он вспомнил, что на днях в каком-то обществе какой-то француз с претензиями говорил, что русской литературы не существует и что ее выдумал Вогюэ, что Тургенев – мужик, отмеченный искрой (искрой, а не искрами) гениальности, а Достоевский – Гамлет без Офелии. И он же, этот француз, сказал: «Кто в России философ? Кто не пьет водки перед обедом». Феодор Михайлович – очень живописен в бархатном костюме, в берете и с черепом Йорика в руках. Как быть с бороденкой?

Тургенев смеялся и чувствовал, как колышется его живот, беспокоя котенка. Странно: проследив сейчас весь путь погребения, он не поверил ни на одну секунду в свое полное исчезновение. Смерть – несомненна, разложение – того более, но исчезновения, полного, последнего – он не чувствует, его – нет. Неужели же прав Кант, и это – одно из доказательств бессмертия души? В московские времена боялся смерти, когда она была далека от него. Теперь, когда близок тяжкий естества чин, страха того, московского, животного, нет, во всяком случае, он – далек и не того веса. «Естества чин» – не плохо гваривал отец Николай. Но страха нет, страха нет и «ее» в углу нет: будь она в углу, котенок не сопел бы так мирно. В



смерти – много магнетизма: ее хорошо чувствует все, что неграмотно.

Отец Николай будет утверждать, что и сейчас, и там, в мастерской Лелюара, и всегда, и ныне, и при-сно за его, Тургенева, плечами, стоит его, Тургенева, Ангел-Хранитель – юноша со строгим лицом в белой одежде, с широкими, всегда защищающими крыла-ми. Когда он, Тургенев, грешит, ангел плачет. Когда Тургенев страдает от боли, ангел жалеет его. И в этой комнате он – за креслом. На аспиде и василиска на-ступиши, и попереши льва и змея. Но для этого надо верить в живого и всевышнего Бога. Вера – такой же талант, как и литературный: если его нет – его нет. Этим талантом Бог награждает того, кого лю-бит. Одному – талант, другому – два, третьему – три. Ему, Тургеневу, Бог дал один, литературный. Неужели Феодору Михайловичу отпущено два? Эх, сейчас бы, в эту комнату, при одной свече, при котенке, на полчаса да Феодора бы Михайловича: тянет к этому Гамлету без Офелии!

Ну а душа?.. Что же о душе, об этой маленькой де-вочке с большими глазами, говорит отец Николай из Спасского?

Когда пройдет три дня и три ночи, ей надлежит расстаться навсегда с той тюрьмой, в которой она жила много лет. Ангел-Хранитель возьмет ее в свои объятия и по-лермонтовски полетит с ней к небу: взмахнет сильными крыльями, вознесется над Па-рижем, над Сеной, над Собором, преодолет лазурь, проникнет в тепло и холод и поставит ее на како-то таинственном пороге, и пойдет она по ступеням в какое-то странное и страшное скалистое царство. Она будет странствовать по этому царству сорок дней и сорок ночей, и каждый день и каждую ночь она бу-дет в новом круге. Она должна обойти все сорок мы-



тарств и увидеть все грехи его, Иоанна Сергеевича Тургенева. Как тяжел и каменист будет этот путь.

И после сорокового дня предстанет перед Высшим Судом, перед Престолом Судии. Судия – светел и бесстрастен – светлее светлостей солнечных. Рядом с престолом – большие весы. Рядом с Судией – Ангел с книгою в руках. В книгу занесены все прегрешения и все заслуги. Лист прегрешений бросается на одну чашу, лист заслуг – на другую. Что перевесит? С каким замиранием духа смотрят все на колебания праведной стрелы, медленно покачивающейся то вправо, то влево. Но вот, наконец, дыхание ее остановилось, и Судия делает только один жест, соответствующий положению стрелы: влево или вправо, к овцам или козлищам.

Налево уже видна радующаяся рожа Дьявола – трубочиста – черного, как этот котенок.

– Ах, нет, нет, – сказал сам себе Тургенев, – лучше базаровский лопух.

В дверь осторожно стукнули. Высунулась морда патрона.

– Как вы себя чувствуете?

– Ничего.

– Не нужно ли чего?

– Ничего не нужно.

«Это идет все-таки от доброты. Это будет положено на правую чашу весов», – подумал Тургенев и улыбнулся. Патрон принял улыбку за приглашение и, нешироко открыв дверь, брюхом всунулся в нее, в исподнем белье стал посредине комнаты и сказал:

– Уверю вас, месье, едят только во Франции. В остальных странах – жуют.

– А вы всегда думаете о еде? – спросил Тургенев.

– Всегда. Согласитесь, что это – самое важное в жизни. И единственное, – добавил он, опустивши



глаза в землю и тайно думая об этом странном русском, сидящем в шубе и шляпе, старике.

VI. Утро в Париже

Часам к четырем ночи Тургенев заснул. Малиновый порошок сделал свое дело; боли сошли постепенно и сладко в маленькое, убаюкивающее нытьё; тело, окутанное полотном, ватой, фланелью, очаровательно согрелось. Тургенев приспособил свое дыхание к дыханию котенка, постепенно получился усыпляющий ритм, и сознание выключилось из дневной работы. Мелькнули усы Флобера, пенсне Золя, сургуч на бутылке, и Тургенев с наслаждением понимал, что это – уже от успокоения, от сна, от часов, которые пройдут незаметно и принесут силы. Он давно уже привык спать сидя: неправильное кровообращение, достигаемое в этой позе, было как раз ему полезно. Свеча сгорела наполовину, но тушить ее не хотелось, а от пожара спасет стеклянная розетка. Все шло хорошо. Мозг начал жить по другим правилам. Днем мозг кажется распространенным по всему телу, ночью он весь и отчетливо собирается в голове. Ночью он похож на кофейную мельницу. Перемалывается заранее засыпанное зерно. В это время и происходит собственно художественное творчество или подготовка к нему. Но какое теперь художественное творчество, когда уже нет сил производить себе подобных? Он именно так, в этих словах, сердито и цинично ответил Софье Андреевне, когда она приставала к нему с вопросом: почему вы перестали писать? Вышло грубо и Софья Андреевна, застигнутая этой грубостью врасплох, покраснела, но больше не спрашивала. Вспоминая об этом, Тургенев улыбнулся сквозь сон. Перестанем играть в институтки. Теперь – только от-



рыжка прежней силы: «сенилиа». Капли дождя, падающего не с неба, а с крыши. Другая тональность: капли, падающие с губ напившейся коровы. Как хорошо! Какая жизнь! Или раздавить ногой застеклившуюся лужу. Или вдохновенные глаза охотничьей собаки. Или, у Толстого, первая капля дождя, ударившая в лопух. Сто целковых за деталь. Великий писатель земли русской. Уничужение – паче гордости.

И вдруг провал, полет в черную дыру: летит ногами вперед. Мелькнул именовник Гоголь, сам приготовивший супник салата, чуден Днепр, полупьяный Лермонтов садится в тележку, никто ему не завидует, за обедом поел весь салат, и от этого аппетита счастливо смеялся Гоголь, гыкал на букве «х». Полет – куда? Может, в ад? Отлично: увидим Орфея.

И вдруг распространился запах кофе с легкой примесью ванили и также вдруг все колеса головы стали на свои обычные места. Глаза потеряли дар видений и тяжело поднялись их подъемные мосты. Крылья отпали, и снова – кресло. Патрон, со счастливой улыбкой сервирующий на столе. Восемь часов. Рай превратился в комнату.

– Поспали, поспали, слава Богу! И даже всхрапнули!

Котенок сидит на полу, моется, деликатно не смотрит на стол, но ноздри пошевеливаются, чуют молочко.

– Вот вы попробуйте кофе, по рецепту Юрбэна Дюбуа, – и патрон, сделав сладострастные глаза, потрясал тремя пальцами, сложенными в щепоть, – Я ведь догадался, кто забрел ко мне в отель. Нужно знать клиентов.

Он наливал кофе, высоко подняв кофейник, любуясь струей.

– Теперь я короную его сливками.



И густая белая слизь, проникая в черное, делала его коричневым.

И запаха молока Тургенев уже не слышал, а прежде слышал: ослабело обоняние. Прежде он мог узнать час, в который было сбито масло, теперь и этого нет: ослабел вкус. Отличил только пятьдесят процентов примешанной сметаны, но кофе было действительно чудесное. Верхняя полость рта наслаждалась и с сожалением расставалась с маслянистой жидкостью.

Котенок верхними лапками уцепился за колени. В зеленых глазках со стальным зрачком была просьба. Тургенев налил на блюдечко и, не желая нагибаться, поставил его на край стола. Котенок смыслено прыгнул, понюхал блюдечко и подождал, пока остынет.

– Ах ты, стервец! – ругался патрон ласково, – я для тебя в шесть часов вставал, морочил голову, чтобы достать сливок!

– Оставьте его действовать, – говорил Тургенев, чувствуя французскую неуклюжесть сочетания слов, и, услышав речь, котенок принялся за еду.

В окружающей обстановке было что-то от «Ревизора», из второго акта; Старый Хлестаков и Осип, перешедший во французское подданство.

– Что вы сейчас намерены делать? – спросил Осип.

– Ехать в Буживаль.

– В Буживаль? – И Осип сделал удивленное лицо, по-клоунски подняв кожу лба. – Где это Буживаль?

– Не доезжая Сэн-Жермэн.

– О ля-ля! Вы знаете, что я вам посоветую?

– Не знаю, что вы мне посоветуете.

– Сходить в баню.

Тургенев посмотрел на него с удивлением.



– В баню! Через три дома от меня на днях открылись новые бани. Полы мраморные, ванны – мраморные. И есть банщик Феликс, кажется, поляк. Он на трет вас персидским мешком и всю хворь как рукой снимет. Мой покойный отец только этим и спасался. У него тоже болела рука, только правая.

– У вашего отца болела печень?

– Точно так. Как у всех поваров.

– Ваш отец был поваром?

– Я сказал. А мой дед был поваренком на королевской кухне, и у меня до сих пор хранится рукопись любимых блюд его величества.

Котенок вылизал край блюдца, повернулся к Тургеневу и смотрел вопросительно. Тургенев подлил ему молока и держал молочник так, чтобы сошла последняя капля. Котенок понял этот маневр и, прикончив питье, прыгнул на пол и, потягиваясь ножками, лениво пошел к двери.

– Скажи же до свиданья? – командовал Осип.

И вместо ответа котенок показал ему носиком на дверь.

Осип удивленно открыл дверь, и котенок не спеша вышел, царапнув боком о притолоку.

– Продайте мне котенка, – сказал Тургенев.

– Я вам продам отель, племянницу, но котенка – ни за что, – с достоинством ответил Осип и почему-то поклонился.

Когда Тургенев вышел из отеля, утро было в разгаре. Особое, специальное качество весеннего света, прозрачность дорогого стекла, употребляемого для биноклей, особая весенняя легкость небесного свода, особая весенняя его и тоже стеклянная голубизна, присутствие нежнейшей стеклянности повсюду, – страшно идти – так все кажется хрупким и ломким. Отполированные под стекло листья, досада



на пыль, которая затмевает их своей серостью, река, как сливками, пополненная новым недавно родившимся пластом воды (морская – глянцевицей), особый сорт солнечного луча, повсюду усиливающего краску и особенно синий цвет, – все это усиливало в свою очередь силу глаза: это тоже было весенним, в июле это начнет ослабевать, но сейчас – радостно и возвращает какую-то частицу молодости. Как хорош цвет клубники, пухлой горой наваленной на прилавке: от нее идет счастье и хочется смотреть; неодинаковая желтизна банана и лимона; парчовая серебристость нового лука и встреченные женщины, жажда материнства в пошевеливающихся по особому плечам, по глубокому огоньку в глазах, горящему тайным костром даже у монашенок, которые в эту пору начинают стыдиться своего неуклюжего и соблазнительного наряда. От алмазной стеклянности все делается воздушным и кажется, что Нотр-Дам поднимешь на ладони и поставишь на другое место.

«И все-таки во французской весне мало юности, – подумал Тургенев, вспомнив русские заливные луга, – нет речных разливов, спадания воды и того особого запаха, который всему этому сопутствует».

Вот бани. Действительно, все – заново, низ стены – в майолике. На стекле – золотые буквы в разводах, ковровые дорожки. Вероятно, пахнет душистым мылом, но нос уже не берет. Погрузиться сейчас в теплую воду, вызвать Феликса и просить об одном: не спеши.

Идея воды всегда изумляла Тургеневу. Не будь писательства и прикованности к Парижу (из-за Полины), он хотел бы быть моряком. Разве что склонность к морской болезни помешала бы. В Карлсруэ, по собственной инициативе, он принимал участие в разработке городского водопровода, делал пожерт-



вованя и по часам мог смотреть на план труб. Он никогда не мог сказать «вода» – он всегда (и это бывало смешно) говорил три раза: «Вода, вода, вода». Летом он радовался жажде, зимой ел соленую рыбу, жадно и с наслаждением пил и думал: «Вода, вода, вода». Он потому и поселился в Буживале, что под самым носом протекала Сена, и вода, вода, вода всегда была видна из окошка.

И теперь, когда слепой Феликс прикоснулся к его спине теплым и ароматным персидским пузырем, то зашло от счастья сердце и в голове осталось одно слово: «Вода». Но тут были и вода, и тепло, и бархатистость фиалкового мыла, и прикосновение пальцев слепого и ловкого массажиста, перебирающего ребра постепенно усиливающимся нажимом, и радостно было видеть, как в массажисте под телом скользят подушечки мускулов.

Лучше всех народов русские нашли звуки, чтобы определить эту идею: «вода». И что такое французское «о»? Разве что восклицание, удивление, но на этот раз – бездарное.

– Тело не французское, – бормотал под нос слепой Феликс, продолжая растирание, – тело хорошей фабрики, прочное, на сто лет, птицы много ели отцы и деды. Птичье мясо – хорошо телу. Уже лет на шестьдесят тело, крепкое, как у монаха. Ходить много можете, в ногах – жила толстая. Поляк?

Тургеневу не хотелось отвечать, и он делал вид, что не слышит.

– Серб? Черногорец?

Черногорец рассмешил Тургенева и он ответил:

– Русский.

– Так и знал, что русский.

«А если ты знал, то чего же молчал?» – хотелось сказать, но уже было все равно, черт с тобой, говори,



что хочешь, лишь бы была вода, вода, вода. В ванне он сидел недолго и с помощью Феликса вылез, бухнулся на кушетку с приятной пружиной и было такое ощущение, что нырнул в сонное царство. В кармане оставались большие деньги, могут украсть, запереть дверь не хватало сил, но черт с ними, с деньгами, когда вода, вода, вода. Простыня скоро перестала согревать, Тургенев потребовал одеяло, но одеяла в бане не оказалось, и он невнятно, сквозь непреодолимый сон, попросил покрыть его шубой.

Феликс нащупал на стене шубу, покрыл Тургенева, подоткнул со всех углов и руками чувствовал, что человек непреодолимо засыпает.

– За каждый час два франка, – бубнил над ухом Феликс.

– Иди к черту, – невнятно и благодарно отвечал ему Тургенев: ему уже казалось, что он в Спасском, что на дворе четыре утра, и скоро застучат в окно насчет тяги. Нужно пользоваться самым сильным в смысле сна часом, потому что ходу – на целый день.

– Уходи к черту, к чертовой матери, – бормотал Тургенев на Феликса, – а то башмаком смажу.

Феликс не понимал и приводил разные банные правила, насчет того, сколько можно занимать каbinу. Но Тургенев уже счастливо спал.

VII. Благочестивое путешествие

В тесном дружески-литературном и очень замкнутом кружке Флобер – Тургенев – Золя много думали и гадали: что с Мопассаном? Молодому человеку пришло время определяться. Было два пути: казенная служба, путь верный, не тернистый, спокойный, но малорентабельный. Тут требовалась смекалка, большая доза воспитанности и приспособляемости, тихий нрав, умение не дышать и рьяно



держаться бюджета. Путь литературный – сложнее. Молодой человек писал стишки, но какой молодой человек до женитьбы не пишет стишков гимнастики ради? Стишки были ровные, искусные, с щегольством даже, но без хмеля. И порешили: пока что пустить молодого человека по казенной службе, чтобы посмотреть, не привыется ли? Путем связей (налегли даже на масонов) Флоберу удалось выхлопотать для него небольшое скучноватое, но и не ответственное место в морском министерстве, с окладом в 103 франка месячных. Мопассан подсчитал с точностью до одной сотой: сколько ему станет еда (принес в жертву сыр), переезды на империале, ремонт обуви, протирание брюк, прачка, развлечения, и выходило, что ста трех франков хватит на 27 дней. Потом ему в канцелярии душно (Нормандия брала свое), начальство убийственное (косится на стихи) и полное отупение.

Решили попробовать его в литературе, в прозе. Неизвестно по каким соображениям, Флобер был уверен, что в этой области из Мопассана выйдет прок. Он давно обещал дать ему тему для первого рассказа, но для этого нужно было приехать в Руан. Условились, что для верности и большей торжественности привезет его Тургенев. Два, так сказать, архиерея посвятят новичанта в протоиаконский чин.

В переписке по почте установили встречу, и в назначенный день, в будний утренний час, Тургенев и Мопассан встретились на вокзале у газетного шкафа.

Тургенев не сразу узнал Мопассана. К нему, со шляпой в руках, подошел молодой монгол, и только в зрачке, в каком-то его углевидном кристаллике, можно было при усилии уловить что-то знакомое, мопассановское. Оказалось, что всю последнюю



неделю молодой человек шнырял в лодчонке по Марне, обварился на солнце и особенно пострадали лоб, вспухший лепешкой, и веки, которые сузили глаза до величины калмыцких щелок. Мопассан был смешной, знал это и первый над собой смеялся, скаля зубы. Эта смешливость напомнила Тургеневу почему-то высекание огня из камня. Мопассан вез чемоданчик, в котором была смешная юбка модного купального костюма и полотенце. Несмотря на калмыцкую рожу, купаться в Сене все-таки собирался. Упорство есть – это на литературном пути неплохо. Но где и что еще есть, что дает Флоберу основание утверждать, что из этого густобрового молодца выйдет писатель? Это интересовало и волновало Тургенева до истомы. Он притворялся равнодушным, но на самом деле пил каждое слово, каждое движение, каждый поворот мопассановской головы и тела.

Вот они подошли к кассе 37. Мопассан с усиленным благородством первый пробился к окошечку. Деньжонок у него сверкнуло немного, кажется, тощенький поллуи, да серебряная мелочишка. Кошелек был сплюснутый, с раздвигающимися шариками в качестве замка. Тургенев сзади насмешливо отвел его руку, собирающуюся платить, и Мопассан по-детски не сумел скрыть своего удовольствия:

– Вы добрый товарищ, Тургенев, – благодарно сказал он, отходя от кассы и беря Тургенева под руку, – еще раз подтверждаю клятву: мой лучший рассказ будет посвящен вам.

– А тема для рассказа есть? – спросил Тургенев, не выключая из глаз насмешливой снисходительности.

– Пчелиный рой, – бойко ответил Мопассан, – я уже наметил вашу. Хотите скажу?

– Хочу, – ответил Тургенев.

- «Закрыт по случаю первого причащения»...
- Что закрыто-то?
- Домик, провинциальный домик с тремя феями в качестве персонала.
- Опять феи?
- Опять. Уверю вас, что это лучшее, что есть на земле. Это надо продумать.

Тургенев расхохотался, глядя на серьезное монгольское лицо:

- А ты продумал?
- До последней занятой. А потом возьмусь за домик и на гонорар куплю яхту, и буду катать вас и Флора по медитеране. Покажу вам Антиб при закате солнца, вы перейдете на музыку и сочините оперу.

– А-ля Мейербер?

– Хотя бы. С громоподобным маршем.

Сели в третий класс ради наблюдения типов. Мопассан сейчас же открыл все окна, прищипнул палец и опять – тоже по-детски – пососал его с причмоком. Кругом ехали фермеры, разносившие от подошв запахи куриного помета, бабы – с живыми гусями в корзинах, воняло прокисшим сидром и сухим лопухом, который курили вместо табаку.

Мопассану не давала покоя мысль о яхте, и он гудел в ухо Тургенева:

– В летний вечер стоять перед Антибом, смотреть на итальянские башни, слушать ангелюс...

Тургенев смотрел на него искоса и думал: «Вспыхивает, порою, что-то настоящее. Есть страсть. Пожалуй, прыгнет и ухватится. Это – не русская, рудинская болтовня, не благие порывы, а может – чем черт не шутит – и свершит».

В этой поездке за темой, как за товаром, уже было что-то не славянское и мечтательное, а деловое, латинское. Возможно, что добрый старик даст тему,



а молодой превратит ее в славу, в деньги, в яхту, в остановку перед Антибом.

В этой передаче темы для первого рассказа было столь новое и острое, что Тургенев начал тайно и как-то по-забытому волноваться. Вновь пришла в движете заштатная писательская машина, цепкая, с усиленным обращением крови, со светлейшим зрением, с очистившимся слухом. Его веселил и третий класс, в котором он никогда бы не поехал в Россию, и удивленные гуси, и молодой монгол, и предстоящая встреча с Тарасом Шевченко – так за усы он звал Флобера.

Пассажиры не знакомились между собой, угрюмо молчали, чинно и незаметно, подозрительно отводя глаза, наблюдали за Тургеневым и Мопассаном. Как удивились и подумали бы о сумасшедшем доме эти люди, если бы узнали, что он, Тургенев, как протодиакон, везет молодого послушника к архиерею на постриг, чтобы низвести на его голову благодать! Тургенев будет ходить вокруг «Престола» и указывать те углы, которые должно целовать. А хор гремит: «Святїи мученицы, име во Христа крестившиеся...» Какая радость!

Тургенев недавно, как чужое, перечитывал «Рудина», сколько там, если не тем, то заглавий, которые стоят тем: «Перекасти-поле», «Холодная кровь», «Последние могикане»... И это только в одном «Рудине»! Имеяй уши, слышати, да слышит, имеяй руку – да возьмет и без всяких посвящений и аксіосов.

И как-то сами собой воспрянули силы, забылось, что его время – время старческих, вялых стихов в прозе, что уже не хватает сил не то, что на роман, а и на хорошо наполненный, упругий, без сквозняков, рассказ. Его вновь взволновали почти забытые чувства очаровательного превращения писаной строки в

печатную, очарование корректурных ошибок, крючков для исправления, специально-наборщический код, горьковатый запах свежей краски и неразрезанность первого экземпляра. Как важен формат и плотняная скользкость бумаги, на которой пишешь, ее водяной штемпель (в особенности – британские грифоны), как важно приспособиться к марке пера, к маслянистости чернил, к умению писать в саду, держа бумагу на колене!

«Если есть у тебя порох, – думал Тургенев о Мопассане, – то сколько радостей тебя ждет! Таинственная молчаливость ровных строк растворится в голове читателя в солнечный и лунный свет, в шорох камыша, в стук колес, в запах цветов, в жизнь человека и зверя, в хмель и яд».

Как церковному новичку надлежит ночью читать правила причастия, так Мопассану хотелось говорить о литературе, и он налегал с вопросами, о которых в парижских литературных кругах без устали всегда говорил Тургенев. Гоголя Тургенев любил больше, но Гоголя не расскажешь, у него нет выпуклостей, за которые можно зацепиться и извлечь. Толстой – более доступен, у него выпирает искусство детали, литературной скульптуры.

– Толстой – щеголь детали, – говорил Тургенев, – но лично я ценю это во-вторых. Самым важным считаю прозрачную и особенно-просторную установку фигур и в особенности – ритм. У Толстого – муравейник.

Тут Тургенев вспомнил, как в ответ на толстовскую терцию в «Войне и Мире» он щегольнул в «Русдине» уменьшенными септимами... И вдруг стало смешно. Теперь – с опущенными в могилу ногами – смешно...



– В искусстве есть свои три четверти, – говорил Тургенев, – шесть восьмых, дизезы и бемоли... Нужно, в особенности, постичь переход из одной тональности в другую. Изучи грозу у Россини, в «Цирюльнике»... Ничто так не помогает проникновению в искусство литературы, как музыка.

Тургенев говорил о том, что у него в голове, как в погребе старых вин, давно уже отстоялось. Но в это же время в глубине его шла другая работа: как происходит посвящение в латинской литературной церкви? Он чуял, что предстоит один из любопытнейших дней его жизни, после казни Тропмана. Как Флобер передаст тему? Как Мопассан воспримет ее? Что сварится в этом калмыцком котле? В России нет ни писательского учительства, ни писательского ученичества. В России только мельничные колдуны передают по наследству планы кладов и формулы заклинаний.

И самое интересное, что весь этот чин произойдет в кафе, в котором мадам Бовари назначала свидания.

VIII. Кафе мадам Бовари

Поезд, постепенно задерживая разбег, медленно, как в просторный футляр, вошел под навес с пыльной стеклянной крышей, и все шумы – особенно шипящая полоса пара – стали отчетливее и ярче. На вокзале не было ожидающих (у них всегда напряженные праздничные лица, повышенный звук речи и беспокойство в глазах), повсюду слышится нормандский акцент: неполная точность ударений, иное звучание буквы «с» и небрежность к знакам препинания (знаки препинания невидимо присутствуют и в устной речи).



Выйдя из тряского поезда, приятно было почувствовать под ногами твердость каменной платформы, приятны были определенность униформ служащих и метроном волшебного телеграфного аппарата, установленного перед раскрытым окном. В телеграфном аппарате, загадочно-удивительном, изящном и блестящем, была для Тургенева какая-то марка Европы, и он всегда удивлялся, видя его в России: он как-то не сливался с русской грязью и борщом.

– Мэтр, мэтр идет! – вдруг воскликнул Мопассан и, раскачивая чемоданчик, вихрем понесся вперед.

Из буфетной двери выходил Флобер. Он, видимо, что-то ел, еще не кончил пережевывания и вытирал платком шевченковские усы.

Все произошло, как по нотам: Флобер изумился, увидев монгольское лицо Мопассана, потом, сразу всё поняв, просиял, ускорил шаг и крепко обнял его. В этой крепости и отчетливости объятия чувствовалась родственно-связывающая близость: и любовь, и тревога, и радость, что вот снова тебя вижу, слышу твоё дыхание, чувствую, что ты молод, чист и крепок. И в голове Тургенева снова зашевелились его, как он называл, «провинциальные» подозрения.

Тургенев чувствовал, что он недурно для своих лет перенес длинное и утомительное путешествие, внутренне радовался этому (есть еще порох в пороховницах) и говорил тенорком, совершенно писклявым, чувствуя, что у него совсем не выходит «прононс» и на три версты слышится русский акцент, чего он терпеть не мог. «Вероятно, у меня выходит твоя-моя», – подумал он, но это уже было неважно: французский Тарас Шевченко был здесь, а с ним приходила свежесть, ясность и простота отношений.



Флобер придал себе особенный, нарочито нормандский провинциальный вид: вместо лощеного цилиндра с восемью отсветами на нем была грубая соломенная мужицкая шляпа и что-то вроде русских сапог бутылками. Тургенев испытал истинное удовольствие, пожав его руку, сухую, сухо-скользкую, словно посыпанную тальком и прогретую сухим жаром, градусов на 38. И сразу после этого рукопожатия началась флоберовская «атмосфера», как будто подошли к знакомому фонарю. Ум светит, и этот свет двумя параллельными, никогда не пересекающимися линиями струился из серых глаз, вокруг которых, на радужной оболочке, уже образовались ободки другого неуловимого цвета: признак старости. Какая-то в его присутствии гора наваливалась на плечи – гора тяжести приятной и уютной.

Первым движением Мопассана было – поцеловать руку, и это было инстинктивно правильным, сыновним, ученическим, и это было и от школ Средневековья, и, если бы Флобер допустил, как оно вышло бы изысканно и внушительно! Но Флобер отцовско-охотничьим жестом толкнул Мопассана в плечо, засмеялся сам и с ним засмеялись все. Мопассан спросил: жарко ли в Руане и сколько градусов на солнце? Сколько градусов – Флобер не знал, но было тепло и ясно, и когда переходили через мост, река светилась зеленой золотистой парчой, солнце стояло от небесного зенита на расстоянии шага, и на углах лодок играли мраморные тени.

Восприняв сразу, по какой-то фразе, провинциальные темпы, покачиваясь и толкая друг друга в плечи, пошли к собору, и, задрвав головы, посмотрели на его вышину: из дверей несло сыростью и погребальным ладаном, маячили неотчетливые колонны, лампада у Дарохранительницы. Среди солнечного

света на внутренней площади собора царили сумерки и остатки зимнего воздуха. Из этих сумерек и зимнего воздуха люди выходили с лицами, отрешившимися от земного, со знаками неостывших молитв и того душевного содержания, которое исчезает, как только человек надевает шляпу.

Кривой улицей вышли к Дворцу Правосудия и, проходя мимо овощной лавки, Мопассан купил большой свежий огурец.

– Это зачем? – смешливо спросил Флобер. – Я хоть и беден, но завтраком вас угощу.

– Это, – ответил Мопассан, – мазать морду. Чтобы не горело. Огуречный сок помогает. Мягчит кожу и удаляет красные пятна.

– Хорошо, что ты знаешь такие вещи, – сказал Флобер.

– Это всякий лавочник знает, – ответил Мопассан, запрыгивая огурец в чемодан.

Посмотрели на место, на котором сожгли Жанну и на котором лежал круг с чугунными буквами. Стояли с обнаженными головами и, когда надевали шляпы, Тургенев надел свою позже всех: ему захотелось пококотничать силой впечатления. В голове мелькнула мысль: «А нельзя ли в прозаическом стихе использовать тему о русском Аввакуме, который никакого круга не удостоился?»

Руан, в сравнении с Парижем, жил и в другом ключе, и в другом темпе. На этом огне воды не вскипятишь. Как будто здешним людям была дана и другая тема и другая задача. Блестящие цилиндры не нужны; не та отглаженность костюма; не та сбруя у лошадей; не те думы думают люди, заседая в кафе. Не те гарсоны, не те газеты, не та река. Иные летают голуби, иначе, не по-гаремному, шевелят бедрами женщины. Около собора много старух



в луи-филипповских бурнусах (в «мефистофилях»), молитвенники у них в переплетях с бурбонскими лилиями. Кюре неизменно благосклонны и в улыбке стараются передать выражение последнего папского фотографического портрета.

– Сейчас будем есть утку, – сказал Флобер.

– Задушенную? – живо спросил Мопассан.

Флобер, который знал Руан, как свою ладонь, сделал два поворота и вывел компанию на улицу Пасиональ.

Тут Тургенев начал разговор, к которому давно и хитро готовился. Он знал, что этот разговор доставит Флоберу большое удовольствие, и именно на это удовольствие рассчитывал.

– Вы нас ведете в кафе, в котором мадам Бовари назначала свидания Леону? – спросил он.

– Да, – ответил Флобер.

– Простите, мэтр, но мадам Бовари никогда и ни в каком кафе не назначала свиданий Леону.

– Да, она назначала их в том вон уголке, – сказал Флобер, указывая вдаль, – вот там, где жасмины.

– Тогда причем же тут кафе.

Цель была достигнута. Лицо Флобера осветилось благодарностью: русский друг так знает его заветную книгу!

– Есть главы, которые я не включил в роман. В одной из них мадам Бовари ждет Леона в кафе, именно вот в этом, – сказал Флобер.

Он, как близкого друга, взял Тургенева под руку и подвел его к двухэтажному дому, внизу которого помещалось маленькое подслеповатое питейное заведение.

Дверь. Два окна. На окне полукругло наклеенные ненужные буквы. И без них всякому понятно, что тут продаются вино, кофе и ликеры лучших

марок. Американскому грогу никто, все равно, не поверит: кому в Руане нужен американский грог?

– Здесь и поесть можно? – осведомился Мопассан, и в узеньких щелках его глаз сверкнули кошачьи искры.

– Обыкновенно здесь не едят, – ответил загадочно Флобер, – но для нас, специально для нас! – сделано исключение.

Мопассан одобрительно хмыкнул, и было видно, как у него зашевелился кадык.

Вошли в кафе.

Было прохладно, пусто, неожиданно уютно и, со свету, темно. Бутылки, стойка, пивной кран и на полках – бумажные подстилки с кружевцами, какие бывают под тортами. Сгущенный запах кофе. Кирпичный пол с выщербленными ложбинками, свежий, недавно мытый марсельским мылом. Календарь с крупным числом, давно прошедшим. Остановившиеся часы. Железная печка с трубой свежего глянцевого железа.

Мопассан вытянул голову, внимательно осмотрелся, и в его позе было что-то от собачьей охотничьей стойки.

– Спорить буду, что здесь хозяйничает женщина. Мужчины тут пьют, курят, играют в карты, но ничем существенным не пользуются, – сказал он деловито.

– Ого! – воскликнул наблюдавший за ним Флобер, обращаясь к Тургеневу, – я же всегда говорил, что из этого молодца выйдет толк! Чувствует женщину! Это в нашем ремесле – первое дело. Правда, Тургенев?

– А вот наш стол, – продолжал Мопассан, – три прибора и салфетки веерами, как у Ларю...

– Тоже правда, – ответил Флобер и крикнул в рупор руки: – Адрисин!



– Ау, – откликнулся издалека веселый, вопросительный, прачечный голос.

– Мы пришли!

– Счастлива. Сейчас заколю последнюю шпильку и буду в вашем распоряжении. Возьмите аперитивы.

Флобер пожал плечами и сказал:

– Что ж. Воспользуемся разрешением.

И сейчас же началось то, что Тургенев любил больше всего на свете: началась интересная игра. Тургенев считал себя неплохим актером, охотно играл в любительских спектаклях, которые устраивались у Виардо, и раз даже выступил перед немецкими владетельными князьками.

Как только Флобер распустил усы, отвесил губу, сдвинул на затылок шляпищу, Тургенев понял, что сейчас он начнет импровизацию нормандского патрона-мордомочителя. И действительно, Флобер неверным шагом зашел за стойку, перекошил щеки, заволокнул глаза пьяненьким туманцем, скрючил пальцы, чтобы показать подагру, сделал рукой щиток и посмотрел на посетителей, плохо их распознавая.

Тургенев понял, что нужно играть нормандца-сидроделателя, ощутившего жажду, скрягу, борющегося с жадностью и желанием промочить горло.

– Двухспальную, что ль? – хрипло спросил кабатчик, презрительно глядя.

– Где уж двухспальную, – ответил сидроделатель, – мне бы вот такую, с наперсточек.

Флобер подхватил линию Тургенева и усилил в лице презрение.

– Все жадничаешь, – прохрипел он. – Деньги в гроб собираешься унести.

– Да где ж, какие деньги? – пискливым тенорочком хитро говорил Тургенев. – Я уж забыл, как они и выглядят, эти деньги.



– Ну, на тебе наперсточек. А ты чем обрадуешь? – обратился кабатчик к Мопассану.

– Я бы по части кредита, – ответил тот, изображая лодочника, у которого дела не идут.

– А нет, старик, дом кредита не делает. Пей вот холодную водицу, – сказал кабатчик, налил ему того же рубинового настоя, что и нормандцу, и добавил: – Ну и себе тоже. Со вчерашнего дня ни одной капли ночью в рот не взял.

– Хи-хи-хи, – тенорчком засмеялся старый нормандец.

– Хе-хе-хе, – невесело повторил лодочник, которому не улыбалась обыкновенная вода.

Все трое посмотрели друг другу в глаза, подняли бокалы и приложили их ко рту.

Вдруг Флобер, не отнимая бокала ото рта, как бы застигнутый врасплох, перестал пить. Удивленными, очарованными и восторженными глазами он смотрел, не отрываясь, на дверь и потом медленно переводил взгляд по направлению к ближайшему столу. Казалось, что дверь раскрылась, кто-то медленно вошел и сел на кожаный диванчик.

Флобер забеспокоился, изобразил крайнее и радостное смущение, одернул пиджак, стряхнул с лацканов крошки, подтянулся, с величайшим желанием служить подошел к столу и стал в позу патрона, принимающего чрезвычайно лестный заказ.

– Добрый день, мадам, – ласково говорил он, наклоняясь к столу. – Как изволите поживать? Не правда ли, сегодня чудесный день? О да, благодарю вас. Мсье Леон? Он еще не приходил, но, наверное, сейчас будет. Мне казалось, что на противоположном тротуаре только что мелькнула его тень. Мадам выглядит сегодня превосходно, и мое старое сердце начинает усиленно биться. О нет, мадам, – это не комплимент.



Что изволит выкушать мадам? Вишенку в ликере? Отлично. Это и слегка пьянит и освежает.

Шаркнув ножкой, Флобер легкой и счастливой походкой пошел к буфету, достал вишни, сервировал рюмочку, и, опять расшаркиваясь и с поклонами, почтительно поставил ее на стол, перед пустым местом. Проходя мимо Тургенева, шепнул:

– А вы спорите, что она не заходит в это кафе. Жаль, что я не побился с вами об заклад.

Тургенев посмотрел туда, где стояла рюмочка с вишней, напряг зрение и отчетливо разглядел прелестное, почти юное существо в широкой юбке с кринолином, улыбающееся и тревожное.

IX. Boule de Suif

В марте 1871 года немцы заняли Руан и наследный принц Фридрих-Вильгельм решил сделать торжественный въезд в этот город. Гражданам Руана было предложено декорировать дома. Руанцы подчинились, но в качестве декораций вывесили траурные флаги, а на окнах – траурные занавеси.

Немцы не тронули ни флагов, ни занавесей, но расклеили по всем стенам следующее объявление:

«Главнокомандующий армией просит королевскую комендатуру сообщить руанской мэрии, что по числу вывешенных траурных флагов можно легко подсчитать, что в Руане еще очень много домов, свободных от воинского постоя и что около 10000 солдат могут найти себе размещение. Чтобы дать отдых войскам, находящимся в окрестностях Руана, уведомите мэрию, что в город завтра войдет большое число батальонов. Эти войска займут те дома, которые украшены черными флагами. Можно обойтись без квартирных ордеров. Руан, 10 марта 1871. За командующего Армией лейтенант-полковник, начальник генерального штаба фон Бург».



Те из руанских граждан, которые еще оставались в городе, начали спешно покидать его.

Среди этих беженцев была Адриенна – Аннонсиан Легэй, уроженка маленького городка Элето, расположенного в десяти километрах от Фекан.

Биография ее была несложна: она приехала в Руан искать счастья и в двадцать лет сделалась подругой одного скромного кавалерийского офицера, потом сменила его на колесного фабриканта. Дела фабриканта были неважные, он принужден был оставить колеса и заняться торговлей ватой в старой руанской улице Медведей. Как друг, он был великодушен, Адриенна, в свою очередь, не была лишена здравого смысла – и парочка жила душа в душу.

Когда началась франко-прусская война, negociant был мобилизован и поехал на явку в Гавр. Адриенна осталась в Руане: она присматривала за ватной торговлей и довольно часто ездила в Гавр на свидание со своим другом.

Когда на стенах Руана появилось объявление полковника фон Бурга, Адриенна решила эвакуироваться окончательно. И вот во время этой эвакуации произошел следующий случай: начальник одного охранительного поста, проверявший бумаги, воспротивился отъезду очередного дилижанса и потребовал, чтобы женщина, которую он заметил на контроле паспортов, провела с ним ночь. Эта женщина была Адриенна.

Адриенна наотрез отказалась принадлежать врагу.

– Распрячь лошадей! – приказал офицер.

Лошадей распрягли, и дилижанс вкатили под навес. Пассажиры остались на вольном холодном воздухе без крова и пищи. На всех лицах было написано:



«Что же делать?» И, в конце концов, взоры всех с раздражением останавливались на Адриенне: «Из-за капризов этой заведомой стервы все мы должны застрять в этой дыре и Бог весть, на какой срок».

Адриенна была доброй девушкой и честной патриоткой. Когда руанцы завешивали свои окна траурными материями, она, не медля, достала из сундука черную материнскую шаль и так же, как все, демонстративно вывесила ее. Когда пришли солдаты занимать квартиру, она заперла дверь и скрылась.

Она была по природе очень добра. Когда одна из ее подруг заболела воспалением легких, Адриенна просиживала у ее изголовья дни и ночи. Лекарства оказывались бессильными и умирающая в слезах спрашивала: «Что будет с моим сыном?» И Адриенна сказала: «Я возьму его к себе», – и сдержала слово, воспитала его и не огорчилась, когда нареченный сын, достигнув возраста, обокрал ее.

Но уступила ли она требованию немецкого офицера – это осталось до конца исторически не выясненным.

По расследованию, произведенному одним руанским историком, с Адриенной в одном дилижансе следовали: граф де-Бревиль, торговец винами Луазо, ткач Карре-Ламаду и популярный в Руане мсье Кордомм, «двадцать лет мочивший свою длинную рыжую бороду в бокалах всех демократических кафе».

Были слухи, что Адриенна, по настоятельным советам своих спутников, уступила требованию пруссака. Сама она категорически отрицала это. Но факт остался фактом: дилижанс выехал. А так как на свете все кончается, кончилась и франко-прусская война. Друг Адриенны, ваточник из улицы Медведей, был убит и оставил вдовой подруге около сорока тысяч франков.

На ее горизонте моментально появился молодой врач, которого она рекомендовала всем своим знакомым. Врач кроме диплома не имел ничего и скоро освободил Адриенну от значительной части ее франков. Погоревав, она купила маленькое кафе в улице Насиональ.

Кафе было старое, столетнее, с низкими потолками и деревянными дубовыми балками, с окнами, похожими на шахматную доску, и почему-то всем казалось, что его посещали три мушкетера. Столы были пудовые, стулья пузатые, в окнах от старины остались кое-где цветные стекла, игравшие по полу разношерстными зайчиками. Новейшие приспособления, как то: автоматический пивной кран или цилиндр для кофе, резали глаз и казались в этом заведении неуместными. Четверть залы была занята тяжело слепленным камином, на котором, как в спальне, стояли часы под стеклянным футляром, давно замолчавшие. Кое-где на стене показывалась старинная роспись, много раз заштукатуренная и производившая впечатлительные выглядывания из гроба.

Дела этого кафе шли неважно. Ему предпочитали набережную, где все было устроено по парижскому образцу: газеты на палках, блюда с обозначенными ценами, гарсоны в люстриновых смокингах. Здесь же все было немодно: единственная приманка – это расчет на неотразимость хозяйки.

Весь веселящийся Руан знал историю бегства из города и приключения на сторожевом посту. И про Адриенну с почтением, но и не без иронии, говорили:

– Это та, которая отказала прусскому офицеру при очень тяжелых обстоятельствах.



Многие не верили в этот отказ, город разделился на отказников и антиотказников, шли бурные споры, задевалась честь Руана, и Фомы неверующие, для доказательств, приходили в старенькое кафе и по лицу хозяйки строили психологические догадки и разгадки, и нейтральные предположения.

Флобер знал этот случай, часто днями просиживал в кафе, вел с Адриенной знакомство и с присутствием ему мастерством выискивал детали.

Он понимал, как драгоценна эта тема и сделал уже наброски маленькой повести. Он понимал, что, как в театре есть самоигральные пьесы, так и в беллетристике есть темы, которые могут постоять сами за себя, без особого искусства писателя. Но уже по черновым наброскам чувствовал, что здесь все-таки нужна рука молодая, что его изобретательные силы сдают (года!), что он не доведет тему до священного блеска. Он давно уже искал: кому передать тему? Золя? Но тот с головой ушел в свою эпопею-реку. Тургенев? Но тот никогда не опишет французов – ему давай никчемных людей, биографии, пейзажи: человек другой планеты и такой же старый; проволока, по которой уже не бежит электричество.

И тут подвернулся Мопассан, которому надо делать жизнь. И он решил подарить ему беспроигрышный билет: как ни сделает, тема устоит, успех будет, рыба клюнет, молодой человек войдет во вкус и кто знает, чем все это дело кончится?

Утка была съедена, Мопассан высосал мозг из всех белых костей, насытился до отказа. Стала заметнее пульсировать височная жилка: история Адриенны восхитила его, просыпался молодой конь. Приглашали завтракать и Адриенну, но она наотрез отказалась, по-хозяйски ссылаясь, что утка – на тро-

их и то еле-еле (смешливо поглядывала на челюсти Мопассана), но к сыру дала холодного белого бордо и сама присела. Она не знала, что Флобер рассказал об ее приключении, но чувствовала, что этот завтрак заказан из-за нее, причесалась с завитками около ушей и, когда сняла фартучек, то мамина дорожка у истоков груди оказалась белизны и невинности почти девичьей. Платье – в голубых цветочках, не было мертвенности корсета, и кружевца, чуть ли не валансьенские, с умышленной небрежностью декорировали верх корсажа. Шея у подбородка чуть сдала, уже намечалась тень старческой канавки, но глаза вишнево блестели, крылья носика не потеряли восковой прозрачности, уши жили и ногти были с матовыми подлунками.

Ее осматривали как литературный товар, и Тургенев, привыкший к точным определениям, колебался: рассказ или повесть листа на полтора?

Разговаривали о Руане, о руанском способе приготовления утки, и Адриенна сообщила, что она не признает этого жестокого способа, и своих уток режет, а не душит. И в вишневых глазах сквозила доброта. И тут Мопассан решил, что в плане будущего рассказа доброта победит, и героиня пойдет на все жертвы, чтобы смягчить сердце упрямого пруссака. Рассказ встал в его воображении во всех подробностях, пошел по жилам, он чувствовал, что рассказ уже не вырвется из его когтей. Он видел в мельчайших подробностях пассажиров, – особенно торговца вином, – и дилижанс (путались в воображении дилижансы английские и французские), пруссака, его серые загоревшиеся похотью глаза. Уже хотелось упругого пера, жирных чернил, чесались пальцы и складывались в троеперстие.



Флобер видел эту лихорадку, был счастлив, достал свой карандаш с отвинчивающимся наконечником, подал ему меню обратной стороной и сказал:

– А ну набросай ее портрет! – и, повернувшись к Адриенне, добавил: – Это молодой художник, ему хочется набросать ваш портрет.

Адриенна покраснела и сказала:

– Господин художник мог бы выбрать для своих рисунков что-нибудь позффектнее...

Она, между прочим, думала, что Мопассан – из японцев.

– А нет-нет, – уже грубовато и отсутствующе ответил Мопассан, уходя в работу, – будьте добры.

И флоберовский карандаш сухо зашуршал по оборотной стороне меню.

В пять минут все было кончено.

Когда Адриенна поднялась, чтобы посмотреть, не убежал ли кофейник, Мопассан прочитал своим покровителям и учителям:

– «Маленькая, всюду круглая; кожа с оттенком серебристого сала; пальчики, словно перевязанные ниточками на фалангах, похожие на четки из коротеньких сосисочек; сверкающая, туго натянутая кожа; сильная грудь, которая блестит даже через платье, была аппетитна и вызывающа; свежесть ее ласкала взор».

– Живет? – спросил у Тургенева Флобер.

– Живет, – ответил Тургенев.

Налили в четыре стакана бордо, встали, чокнулись со стаканом отсутствующей Адриенны и выпили. Последнюю каплю из своего стакана Флобер вылил на голову Мопассана, и Тургенев понял, что посвящение в первый духовный чин состоялось.

И каждому воздастся...**Рассказ**

1

В тот год почти до середины декабря зима стояла тихая, бесснежная, похожая на осень. Иногда туман слоями стелился по земле или сыпалась с неба колкая изморось, но вскоре рассеивались тучи, и солнце заливало тусклым светом золотую стерню и поля изумрудных озимых.

Но однажды зима вступила в свои права. В середине погожего дня, словно с цепи сорвался ветер, белые полосы снега понёс над коричневой пашней, и уже поползли наискось по шоссе синие струи позёмки.

В салоне «Нивы» Алексея Никулина было тепло и уютно; «дворники» деловито счищали снег с лобового стекла; справа бежали назад туманные призраки столбов и дорожных знаков; весело, словно майский жук, гудел мотор. Машины шли навстречу с зажжёнными фарами, но хлопья валили так густо, что свет с трудом пробивал снежную пелену.

Вскоре поля побелели, словно незримый художник покрыл



**ИВАН
АКСЕНОВ**

Проза



их густыми мазками белил, и лишь палево-серый бурьян обочин торчал из-под снега, колеблясь под ветром.

Пока что всё шло хорошо, и домой Алексей должен был успеть засветло, но в глубине его души прочно засела смутная, похожая на недоброе предчувствие, тревога. Впрочем, подобное и раньше случалось с ним, когда он брал большой кредит в банке.

В советские годы люди как-то не привыкли к большим деньгам, тем более что и тратить их тогда было особенно не на что.

Никогда богато не жил и Алексей. Теперь же, после того как рухнула прежняя, пусть и не самая благополучная, но всё-таки более устойчивая и привычная жизнь, деньги стали вдруг для людей неким идолом, которому они поклоняются с каким-то языческим исступлением, и жизнь человеческая, стоящая на пути к деньгам, для многих не дороже ломаного гроша.

Снег падал всё гуще, и ветер, казалось, того и гляди, сдует машину с дороги, и лишь одно согревало душу Никулина – близость родного дома. Там ждали его жена Наталья и дочь Соня. Наташа знает, что он должен привезти из банка крупную сумму денег, и теперь, наверное, тревожится, не случилась ли с ним в дороге какая-то неприятность?

К счастью, на этот раз ему повезло доехать до дома без приключений.

Уже совсем стемнело. Дом так уютно светился золотисто-оранжевыми окнами, и Алексей облегчённо вздохнул: ну, вот и конец пути.

Он посигналил. Вышла жена и открыла ворота. Никулин загнал машину в гараж, снял с заднего

сиденья «дипломат» с деньгами, подумав об уюте родного дома, где ждал его уже накрытый стол.

Прежде чем снять куртку и вымыть руки, он отпер высокий железный шкаф, достал из него ружьё и патронташ, а на их место поставил свой чемоданчик.

Пока Наталья разогревала ужин, он зарядил ружьё и пристроил его на полку, за спинкой дивана. Рядом с ружьём он положил на всякий случай два заряженных картечью патрона. Такие меры предосторожности Алексей стал принимать после того, как в соседнем селе бандиты вырезали семью такого, как и он, фермера, узнав о полученном им кредите.

О нынешней поездке Алексея в банк никому в селе не было известно, кроме жены. И она, и дочь знали, что об этом следует молчать, чтобы не случилось несчастья.

Во время ужина он был сосредоточен и молчалив, на вопросы родных отвечал невпопад: душевная тревога не оставляла его; напротив, росла с каждым часом.

Для Натальи Александровны и Сони это был обычный зимний вечер. Всё было спокойно, в комнате тепло, а от метели, бушевавшей за окном, они были защищены толстыми стенами дома. Чего ещё желать дружной, счастливой семье?

Наталья села, как обычно, проверять ученические тетради, дочь стала готовиться к завтрашним урокам. Она у них умница: учится на одни «пятёрки» и рассчитывает в конце года получить золотую медаль. Да и красавица, как её мама!

Алексей взял с комода новый номер «Аргументов и фактов», но глаза скользили по строчкам,



будто коньки по льду, а вникнуть в смысл прочитанного не получалось.

«А что если кто-то из сотрудников банка работает на бандитов, – думал он, – И они уже знают о полученном мною кредите?» В таком случае «гостёчков» не избежать. Он отложил газету и пошёл проверить, хорошо ли заперта наружная дверь.

Жена и дочь по-прежнему работали за столом, и он подумал, что любит их так, что готов перегрызть горло каждому, кто посмеет причинить им зло.

Фермером Алексей стал десять лет назад. До этого работал колхозным бригадиром, а потом, когда окончил сельхозинститут, главным агрономом; крестьянскую работу он любит с детства. Конечно, всякое случалось в последние годы: ему завидовали, особенно те, кто предпочитал работе пьянство, у него воровали, угрожали ему пустить «красного петуха», чтоб он знал своё место и не слишком нос задирает, а кое-кто из милицейских чинов предлагал надёжную «крышу» от всяких посягательств, разумеется, за хорошую плату. Но он сумел устоять перед всеми невзгодами, не сдаться, не опустить рук.

А Наташу он полюбил ещё в школьные годы,

Сейчас ему вспомнился выпускной вечер, когда они, отделившись от одноклассников, встречавших на мосту рассвет, гуляли вдвоём по берегу реки, и он сказал ей:

– Знаешь, Наташа, что я решил? Не стану я пока поступать в институт, а пойду лучше в армию. Отслужу, а потом мы с тобой поженимся. Согласна ждать два года?

– Конечно! – воскликнула она. – Но почему бы тебе сейчас, после школы, не продолжить учёбу, пока ещё свежи знания?

– Понимаешь, какая штука... После вуза служить всё равно придётся, а это значит, что надо будет расстаться с тобой! А в сельхозинститут после службы и заочно поступают...

И теперь семья стала для него единственным прибежищем в этом зыбком, противоречивом мире, где люди как-то неожиданно быстро научились косо смотреть друг на друга, где одни ворочают наворованными миллионами и миллиардами, а другие впали в нищету. Жители села разбегаются в поисках лучшей доли, едут в Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву, где можно найти какую-нибудь работу. А кое-кто глушит отчаяние водкой. На многих домах висят таблички «Дом продаётся», и лучшие жилища уже купили цыгане и предприимчивые переселенцы из Чечни и Дагестана, так что на некоторых улицах даже русскую речь нечасто услышишь.

Разбогатеть Алексею не удалось, как он ни старался. Бешеных денег стоят техника, удобрения, горючее, семена, да и арендная плата за землю – деньгами и зерном – довольно разорительна. А тут ещё государство налогами три шкуры дерёт. И ещё душу тянут вечные долги перед банком: не успеешь выплатить один кредит, как начинаешь думать о том, что скоро придётся брать новый.

Но ничто так не угнетает его, как вечный страх за семью. Вот и теперь в сейфе лежит куча денег, и пока он от них не избавится, покоя ему не будет. Главное – благополучно дожить до утра, когда он поедет в город и расплатится с поставщиками сельскохозяйственной техники и горючего. Тогда хоть какое-то время можно будет пожить спокойно.

А сегодня расслабляться нельзя!



Время от времени Алексей подходил к окну и вглядывался в белую мглу, бушевавшую за стенами дома. Снег так густо валил, что фонарь на другой стороне улицы казался большим горящим и клубящимся шаром.

2

Это случилось около часа ночи. Наталья Александровна ещё писала поурочные планы, а Соня мылась в ванной.

Алексея, дремавшего на диване, разбудил гул мотора.

Машина остановилась на противоположной стороне улицы.

Он осторожно приоткрыл штору и увидел серый внедорожник. Одна за другой хлопнули дверцы, и этот звук показался ему таким зловещим, что внутри у него всё похолодело. Две мужские фигуры направились к дому. Яростно залаял Цезарь, но тотчас же послышался глухой удар, собака коротко взвизгнула и смолкла.

Алексей поспешно взвёл курки ружья. Он не знал, что делать. Сразу стрелять на поражение – верная тюрьма. Но и медлить опасно. Только бы дверь подольше выдержала. Главное – Наташу и Соню спасти!

Всё это мгновенно пронеслось у него в голове.

– Наташа, скорее в спальню! Дверь чем-нибудь подопри тяжёлым. Скорее!

Наталья Александровна испуганно вскочила из-за стола, но не успела сделать и пяти шагов, как в комнату ворвались двое: краснолицый толстяк с висячими запорожскими усами, и горбоносый кавказец, с рыжеватой щетиной на скулах. Первый был вооружён бейсбольной битой, а напарник – пистолетом.

«Масок не надели, значит, убьют нас», – обожгла догадка Алексея. Он не ожидал, что бандиты так быстро справятся с дверью.

– Наташа, беги! – в отчаянии крикнул он, шагнув вперёд. Стрелять в толстяка нельзя было: тот стоял за спиной растерявшейся Натальи Александровны.

– Беги! – ещё раз крикнул Алексей срывистым голосом.

Однако Наташа оцепенела от ужаса и не могла сдвинуться с места, только инстинктивно успела прикрыть голову руками. Тут же мордастый коротко ударил её битой. Боль была такой, что жена со стоном упала на пол.

– Кончай бабу! – приказал горбоносый дружку.

В это время Соня, выйдя из ванной, оказалась позади бандитов и, как была в коротком халатике, шмыгнула в коридор.

«Всё не так! Не так! – билась в голове Никулина страшная мысль. – Я не рассчитал и погубил Наташу».

В это мгновение кавказец выстрелил – Никулин ощутил боль в шее. Он машинально нажал на спуск. Горец рухнул навзничь, уронив пистолет. Толстяк в три прыжка подскочил к Алексею с занесённой дубиной. В его раскосых обезумевших глазах стыла готовность на всё! Алексей выстрелил второй раз...

Комната была полна порохового дыма. Алексей выронил ружьё и бросился к жене. Она лежала на полу без сознания, предплечье правой руки, которой она пыталась защититься, было перебито, и на паласе медленно расплывалось кровавое пятно. Он перенёс Наталью на диван, достал из шкафа аптечку, дрожащими руками перевязал, как умел, рану...



Только теперь Никулин вспомнил о дочери, выбежавшей из дома. Он опять зарядил ружьё (кто-то из бандитов мог остаться в машине) и выбежал за ворота, возле которых лежал Цезарь, а под головой у него снег почернел. К счастью, в машине никого не оказалось.

– Соня! Соня! – что было сил позвал Алексей. – Ты где?

Стукнула калитка соседнего двора. И дочка, в чужом пальто и валенках, подпорхнула к нему в сопровождении соседа Сергея Сергеевича.

– Вот постучала к нам в окно и кричат: «Бандиты маму убили!» Перед этим я слышал три хлопка подряд, но не понял, что это: стрельба или фейерверк? – торопливо рассказывал взволнованный пенсионер, пока возвращались в дом. – Сразу позвонил в полицию, и в «скорую помощь».

– Папа, ты тоже ранен? – испугалась дочь, увидев при свете его залитую кровью рубашку. Плача, она металась от отца к матери. Наконец, они с соседом перевязали ему рану, и Соня стала успокаивать мать, стонущую от боли.

Полиция и «скорая» приехали из города почти одновременно, минут через сорок. Пока медики оказывали помощь раненым, оперативники осматривали и фотографировали трупы, собирали необходимые данные с места преступления. Один из них, капитан Осокин, был одноклассником Никулина.

– Да ты, Лёша, успокойся, – сказал он, видя, что Никулина всё ещё бьёт нервная дрожь. – Ты всё правильно сделал. Другого выхода у тебя не было.

«Скорая помощь» увезла Наталью Александровну в районную больницу, а полицейские ещё что-то измеряли рулеткой, допрашивали Алексея.



Он боялся, что они увезут в район и его, оставив Соню беззащитной при огромной сумме денег.

– Костя, а со мной что? – спросил Алексей давнего приятеля.

– Пока оставайся дома, – ответил тот. – Жди повестку и не волнуйся, Лешка. На твоём месте и я так бы поступил!

3

Через день Никулина вызвали к следователю. За столом сидел красавец лет тридцати пяти, спортивного вида, со светлыми волосами, зачёсанными назад.

Алексей сразу почувствовал что-то настораживающее, увидев на его розовых, по-женски полных губах насмешливую улыбку.

– Следователь Добронравов, Михаил Антонович, – представился холёный молодец. – Мне надо уточнить некоторые детали позавчерашнего происшествия. Будьте добры, расскажите всё, как было.

Алексей повторил всё, что уже рассказывал приехавшим на происшествие полицейским

– Так-так, – недоверчиво протянул Добронравов. – Но мне кажется, что вы чего-то недоговариваете. Всё же скажите честно, кто выстрелил первый?

– Я же говорю: тот, горбоносый.

– Что-то тут не сходится. Если бы он хотел вас убить, то стрелял бы в сердце, а не в шею, да ещё по касательной. Может, он просто попугать вас хотел, а вы с перепугу уложили его насмерть!

– А о жене моей вы забыли? Если бы она не успела рукою голову закрыть, тот, толстомясый, раскрыл бы ей череп.



– Но не раскроил же. Значит, и не собирался этого делать, а просто страху нагнать хотел. А вы и его прикончили...

– Так я же выстрелил, когда он уже над моей головой дубину занёс

– Ну, это ещё доказать нужно, – возразил Добронравов. – Скорее всего, вы запаниковали, вот и открыли огонь на поражение.

Алексей понял, что следователь заподозрил его в преднамеренном убийстве. Ему не раз приходилось слышать, что человека, попавшего в такое же положение, как и он, сажали в тюрьму за превышение необходимой обороны, а то и за преднамеренное убийство. Почему-то судьи у нас чаще всего стоят на стороне преступников, а не пострадавших.

«А нрав у этого Добронравова, в отличие от фамилии, совсем не добрый», – подумал Алексей.

– Если бы они хотели запугать нас, чтобы мы отдали им деньги, они бы маски надели. И прежде всего, объявили бы нам об этом во всеуслышание! А они не боялись, что мы их опознать сможем, потому что не собирались оставлять нас в живых. Да и кавказец прямо сказал подельнику, ударившему жену: «Кончай её!»

– Свидетелей-то у вас нет. А я думаю, что они были в масках. Вы же их с убитых сняли и уничтожили, чтобы чистеньким остаться.

И он самодовольно рассмеялся. Алексей с мучительной ясностью понял, что справедливости от этого человека вряд ли дождешься.

– Так вы меня... преступником считаете? – спросил он, чувствуя, как лихорадочно забилось сердце.



– Да что вы так побледнели? – спросил следователь. – Дошло, наконец, в какую историю вляпались?

«Ну и мразь же ты!» – со злостью подумал Алексей и спросил:

– В чём моя вина?

– В превышении пределов необходимой обороны. Вместо того, чтобы попробовать уговорить подозреваемых уйти по-хорошему или отдать им эти чёртовы деньги, вы их убили.

– Кого уговорить? Каких подозреваемых? – изумился Алексей. – Бандитов уговорить? Да вы что? Вы на самом деле считаете, что они ушли бы с миром, если бы я им деньги отдал? Для них один выход был – прикончить нас всех!

Допрос кончился тем, что следователь взял с него подписку о невыезде и отпустил его.

– А вопрос о вашем аресте будет судья решать, – бросил он на прощанье.

Через день всё повторилось.

– А давайте-ка ещё раз расскажем всё, что в тот вечер случилось. Всё, до мельчайшей подробности, – потребовал следователь.

– Ну, это прямо сказка про белого бычка получается, – возмутился Алексей. – Неужели вам непонятно, что если бы первым это сделал я, то покойник вряд ли смог бы выстрелить?

– Ну, вы не очень! – рассердился следователь. – Ишь, остряк нашёлся! Вопросы здесь задаю я, а вы будьте добры отвечать на них точно и чётко. А может, вы взяли у убитого пистолет и выстрелили сами себе в шею. Чего только не бывает, когда преступник хочет следы замести!

– Так вы что, без суда меня в преступники зачислили? – вспыхнул Никулин.



– Ну, ладно, ладно, – сказал Добронравов. – А знаете что? Не прогуляться ли нам по свежему воздуху? Сегодня чудесная погодка, морозец. Так чего нам сидеть в духоте!

Никулин давно уже догадывался, чего хочет от него следователь. Он покорно встал и пошёл вслед за ним к выходу из кабинета.

Денёк и в самом деле стоял чудесный: деревья были покрыты кружевами инея, фиолетовые тени от деревьев тянулись через заснеженные газоны. Но Алексею было не до зимних красот – чувство безнадёжности всецело овладело им.

– Мы с вами могли бы разойтись по-хорошему, – сказал Добронравов. Лицо его на морозе порозовело, синие глаза смеялись, улыбка играла и на розовых, полных губах. – Будь вы догадливей да поговорчивей, давно уже можно было бы спустить это дело на тормозах.

– И в какую же сумму выходит моя догадливость?

– Думаю, пятьдесят тысяч.

– Рублей?

– Шутка? Рубли пенсионеры считают. Конечно же, долларов, такую мать!

– Я таких денег никогда не имел! И даже не видел, – потерянно признался Алексей. – А с банком попробуй вовремя не расплатись – голым останешься.

– Думайте. А нет - в суде встретимся, – и следователь резко оборвал речь, нахмурившись. – Я ничего не говорил, вам всё показалось...

– Пойдите, – возразил Алексей. – Я попытаюсь достать деньги. Нужно время.

– Недели вам, надеюсь, хватит?



Никулин кивнул.

– Посмотрите, вон стоит моя машина – серебристый «Лексус». Фонтан с лягушками каменными на площади знаете? Я буду ждать вас в ней там в среду, в девять утра. Остальное – ваши проблемы.

Капитан Осокин предупреждал Алексея, что Добронравов мастер фабриковать уголовные дела, а потом, когда ему дадут взятку, закрывать их. Живёт он в двухэтажном дворце и ездит на шикарной иномарке. Все знают, каким путём всё это нажито, но никто его не трогает: у него есть очень солидные покровители.

Всю неделю Никулин ездил по знакомым в поисках денег. Он попросил сестру поговорить с мужем, владельцем хлебозавода, очень состоятельным человеком, тот, вроде бы, обещал помочь шурина, но, когда Алексей приехал к нему, наотрез отказал:

– Снять со счёта такую сумму я не могу. Деньги мне самому скоро понадобятся: я расширять производство задумал, а наличными не располагаю, так что извиняй, Алексей, ничем не могу помочь, – и он горестно развёл руками.

Алексей смотрел на его крупную, гладко выбритую физиономию, и в нём поднималось глухое раздражение.

– Ладно, – сказал он. – Я не милостыню просить у тебя пришёл. К концу лета я вернул бы долг. Что ж, Бог тебе судья!

– Извини.

– Боливару не снести двоих? – вслух вспомнил Алексей.

– Что?



– Ничего. Это цитата из О' Генри, с которым ты, конечно, не знаком.

С просьбой о займе обратился он к двум своим друзьям, людям тоже состоятельным, которых он в прошлом не раз выручал, но и там получил отказ.

К концу недели Алексей потерял всякую надежду раздобыть нужную сумму. Каждый день он посещал в больнице жену, но о своём отчаянном положении не говорил ни слова. Он бодрился, уверял её, что всё идёт нормально, но по лицу Натальи Александровны видел, что тревога ни на минуту не оставляет её. Была она бледна и печальна, рука её в гипсе висела на перевязи.

За день Алексей так уставал, что, вернувшись домой, падал на диван и часами лежал, уставившись в потолок.

– Папа, ты болен? – с тревогой спрашивала дочь. Он, как мог, успокаивал её, но она только печально качала головой.

Надежду найти деньги Никулин уже полностью утратил.

«Во что мы все превратились! – с горечью думал он. – Твердили, как попугаи: человек человеку – друг, товарищ и брат, и что же теперь? Куда подевался наш хваленый коллективизм, где взаимовыручка, готовность последнюю рубаху с себя снять да другому отдать? Вот попал я в беду – и где они теперь – прежние друзья, товарищи, братья? Никто не придёт на помощь, хоть пропади!»

Он лежал, крепко сжав зубы, и слёзы отчаяния жгли ему глаза.

Наступил последний день, отпущенный ему следователем для поиска денег, однако и он оказал-

ся совершенно бесплодным. Никогда раньше Алексей не попадал в такое безвыходное положение.

Всю ночь его мучили кошмары, он то и дело просыпался от собственных вскриков и встал утром совершенно разбитый и больной.

«Придётся просить Добронравова подождать ещё неделю, – думал он. – С голоду этот кровосос за это время не помрёт. Думаю, что он согласится на отсрочку. Может, в прокуратуру обратиться?»

Утром серебристого «Лексуса» у фонтана почему-то не оказалось. Часа полтора Никулин ходил взад и вперед возле своей «Нивы», но, так и не дождавшись следователя, поехал к отделу внутренних дел.

Однако, к его удивлению, на месте Добронравова сидел другой человек, мешковато одетый, высокий, с мужественным суховатым лицом.

– Присядьте, Алексей Николаевич, – вежливо сказал он. – Я ваш новый следователь, фамилия моя – Климов. Я подробно ознакомился с материалами и поговорил с оперативниками, которые выезжали к вам. Удалось установить личности напавших на ваш дом. За ними тянется довольно длинный кровавый след – и не только по Ставрополью.

Он вышел из-за стола и пожал Никулину руку.

Алексею это показалось доброй приметой. В его душе затеплилась робкая надежда на то, что всё уладится.

Он заглянул в кабинет, где с двумя другими операми сидел капитан Осокин. Тот, к счастью, оказался на месте.

– Ну что, как дела?

– Говорил сейчас с новым следователем.



– Знаю. Твой Добронравов в изоляторе теперь кукует. Нализался в ресторане, влетел на своей тачке на автобусную остановку – троих взрослых – насмерть, да ещё ребенка покалечил. Так что теперь никакие покровители не спасут. Думаю, обвинение с тебя должны снять: Климов – человек справедливый. Как у вас фермеров говорят: что посеешь, то и пожнешь?

В больницу к жене Никулин летел, как на крыльях...

Шнурок

Рассказ

В принципе, лейтенант Мухин оказался неплохим мужиком. Очень быстро с него слетела этакая спесь новоиспечённого офицера, два месяца назад окончившего военное училище и сразу же попавшего в Афганистан.

Ладно, обо всём по порядку.

Девять солдат под командованием старшего сержанта Борисыча уже второй месяц парились на точке, задыхаясь в полубетонном пекле блока, ожидая ночной прохлады. С этого блока контролировалась дорога, впитывающая в себя тайные и явные тропы, где-то далеко стекающие со скалистых седловин Гиндукуша. По этим тропам спускались небольшие караваны из Пакистана и сворачивали обходным путём мимо, поскольку только совсем глупый и ленивый не знал или игнорировал присутствие в этом месте заставы шурави. Недалёкий кишлячок не был таким уж узловым селеньцем, где могло разместиться хотя бы с десяток прибывших караванщиков или, тьфу-тьфу, душманов. Чего там, полтора десятка глинобитных



**СЕРГЕЙ
СКРИПАЛЬ**

Проза





домишек-конур, объединённых невысоким каменным дувалом. С блока хорошо просматривался весь кишлачок, со средневековым, жалким бытом горстки, богом забытых, людей. Так что странствующий люд и в лучшие-то времена не смог бы получить здесь достаточное количество продуктов, обновить свой износившийся гардероб, отдохнуть, наконец, в прохладе. Растительность скудная, с чахлыми кривыми деревцами, правда, по правую руку от кишлака бурлила сумасшедшим потоком узкая речушка. Вот рядышком с ней, когда-то была настоящая «зелёнка»: осока и камыш густой стеной росли вдоль берега, давая местным жителям и материал для стройки, и сочный корм малочисленной живности. Теперь «зелёнки» не стало. Полтора года назад на блок-пост напали отчаянные люди из банды Хасмет-бая, пытаясь прорваться на дорогу и уйти дальше, соединившись где-то под Кандагаром с Хаджи Латифом. Пройти им не удалось, огнём из ДШК, автоматов и выстрелами из подствольников шурави сбросили горстку духов в реку, а потом сожгли к чёртовой матери всю «зелёнку». Полыхнуло, рассказывали, будь здоров! Дело шло к зиме, тростник уже высох достаточно, чтобы его можно было резать для утепления кровли или стенок загонов для животных. Так что зима выдалась очень тяжёлой для местного населения, да и для шурави тоже – ведь какой-никакой, а всё же жар в печурках-очагах камыш поддерживал, с дровами-то – напряжёнка, да ещё какая! Соревнуясь с местными, солдаты вылавливали в реке и собирали по её берегам плавник, который хоть и горел нехотя, но тепла давал неизмеримо больше, чем камыш.

Весной селяне взмолились, не выжигайте, мол, растения, не дайте сгнуться! В то время на блоке ко-

мандовал капитан Кулаков, прилетевший на недельку вместе со сменой солдат. Решение было найдено к удовольствию обеих сторон. Кулаков дал добро на рост «зелёнки», но... если тростник не вырежут после того, как он достигнет одного метра, растительность постигнет та же участь! Шурави больше не будут охотиться за камышом, поскольку пост будут снабжать топливом меняющиеся смены. Старейшина Салим, от радости, чуть ли не руки целовал капитану.

Теперь каждое утро солдаты наблюдали, как люди шли к реке, срезали тростник и камыш, волокли вязанки домой и приступали к работе. Кто мелко рубил сочные стволы тростника, засыпая в кормушки для пары овец полученный корм. Кто аккуратно раскладывал вдоль дувала камышины для просушки, имея в виду ремонтно-восстановительные работы. Кто сплетал подобие корзин, а кто умудрялся даже небольшой плетень сгондобить. Этим плетнём делали загородки, где содержали малочисленных кур.

Наблюдать за кишачной жизнью было тягостно и скучно, так же, впрочем, как и за дорогой, которая, казалось, быстро и даже весело скатывалась с гор. Тут, на небольшом равнинном плато, дорога скисала и тянулась бесконечно, серея выжженной пылью, равнодушно вздымающейся и так же нехотя опускающейся на место, после того, как по ней кто-то проходил.

Борисыч остался за командира, поскольку прибывший на место несения службы старший лейтенант Борисов улетел тем же «бортом» МИ-8, на котором прилетела смена. Ещё в полёте старлей понял, что у него – гепатит, глянув в зеркальце, оценил желтизну белков и языка, доложил в полк по рации и получил приказ возвращаться, временно назначив командиром старшего сержанта Борисыча.



Ничего не бывает более постоянного, чем временное, вот и скоро как полтора месяца прошло после смены, а начальствия нового всё нет. К слову сказать, Борисыч совершенно не тяготился новыми обязанностями, возложенными на него. На этом блоке уже дважды приходилось бывать, так что – местность знакомая, народа нового в кишлаке не наблюдалось, с продуктами – порядок, личный состав блокпоста занят. Чтобы избежать пофигизма при исполнении боевого задания, с первого же дня Борисыч поставил задачу укрепить кое-где обвалившиеся стены и обложить те места, где наружу выглядывал бетон, камнем. В итоге все бойцы были заняты. Двое постоянно вели наблюдение за вверенным участком, двое отдыхали после смены: сначала уходили внутрь помещения, пытаясь уснуть, но, промучившись в духоте, вылезали на свет божий и принимались помогать строителям. Сначала народ повозмущался распоряжениями Борисыча, но служба есть служба, и под руководством Федюни стали собирать в округе камни, подыскивая наиболее плоские или же близкие по конфигурации к кубу, чтобы хоть не обтёсывать при подгонке. Потом разохотились, стали таскать все подряд, сбивали лишнее и прилаживали к вновь возводимой стене, скрепляя их между собой либо глиной, которой на реке было с избытком, либо, в узловых местах, цементом из оставшихся когда-то давным-давно, ещё при постройке блока, двух пятидесятикилограммовых мешков. Цемент в мешках по углам подмок, да так, что образовалась корка. Приходилось сначала разбивать, как орех, цементную скорлупу, высыпать из неё сухой порошок, а потом долбить, крошить и измельчать до первозданного состояния монолитные куски.



Теперь уже Борисычу приходилось отгонять заступавших в караул бойцов от созидательного труда. Солдаты, нехотя, оставляли зодчество, обмывались тёплой водой, брали вёдра, шли на реку и, возвратившись назад, заступали на пост: один у ДШК, вмурованного в гребень стены поста, другой – на противоположенной стороне, скучал с РПК.

Как только закончили строительство, Борисыч вызвал на пост старейшину Салима. Посредством переводчика, туркмена Дурдыева, долго договаривался со стариком о том, что изрядный кусок «зелёнки» шурави нарежут для своих нужд, поскольку требовалось сменить навесы над блоком, где была тень. Старый навес пришёл в негодность, с него постоянно сыпалась труха за шиворот и в котелки с пищей, а солнце лезло сквозь огромные дыры, превращая отдых в мучение. Ну, в самом деле, не лезть же в помещение, где духота, кажется, не исчезнет и с наступлением зимы. Салим кочевряжился, пытаясь с наивной хитростью выжать из ситуации как можно больше пользы для себя. В такие минуты каждый, облачённый хоть какой-то властью, забывает, что за его спиной есть люди, на благо которых, собственно говоря, его и облекли той самой властью. Борисыч прекрасно понимал детские уловки старейшины. За разрешение на получение камыша, старику выдали две банки тушёнки, банку сгущёнки и два килограмма муки. Однако, это не всё. Каждый из жителей кишлака, кто принесёт две большие вязанки камыша, получит по килограмму перловой крупы, коей скопилось за несколько месяцев на блоке в большом количестве. Редко, кто из солдат, при наличии других круп, захотел бы отведать «дробь шестнадцать». Салим же, попытался и тут схитрить, пообещав, что сам принесёт необходимое количество камыша. Но



Борисыч был неумолим, сказал, мол, если до захода солнца Салим принесёт столько, сколько удовлетворит потребность шурави, вопросов нет, получит все двадцать килограмм крупы. Сколько это будет, Салим не понимал, пока Федюня не приволок полмешка перловки и не показал ему. При этом Борисыч выложил под ногами сорок камешков, означающих количество вязанок, которые обменяются на крупу. Старейшина поцокал языком и ушёл в кишлак.

Очень скоро к блок-посту потянулся народ. Федюня с Дурдыевым вышли их встречать из укрепления. Каждую вязанку Федюня оценивал сам. Если афганец хитрил, приносил недостаточную, Дурдыев медленным, тягучим языком объяснял претензии Федюни, и селянин, неохотно кивнув, забирал тощую связку и убегал к реке.

Таким образом, был решён вопрос с затенением на территории поста. Утром, по приказу Борисыча, дневальным приходилось делать по три рейса к реке. Первые четыре ведра шли на кухню для готовки и мытья посуды, вторые – для личной гигиены каждого бойца, а остальные... А вот остальной водой обливался камышовый навес, и теперь под ним было так уютно и прохладно, что и уходить не хотелось никуда: здесь и обедали, и оружие чистили, и курили, и спали, и... в общем, вся жизнь сосредоточилась здесь.

Местные жители крайне редко появлялись у поста шурави, зная, что вокруг блока есть минное поле. Где и как установлены мины, не знал никто, включая и вновь прибывающие смены, поскольку карта была давным-давно утрачена, сгинула в штабных джунглях, а проверять на себе никто не торопился. Достаточно было того, что подходы с двух сторон были и прикрывались на ночь минами-сигналками.



Постоянным гостем был только щенок. Непутёвый кобелёк приходил с разных сторон, ни разу не нарвавшись на мину. Борисыч даже забеспокоился, а есть ли тут мины вообще? Его сомнения развеял взрыв, когда одна из местных собак, запуганная, с вечно прижатым к брюху хвостом, голодная, неизвестно, чем и как питающаяся и что делающая в кишлаке, ринулась к блок-посту, привлечённая запахом солдатской кухни. Сначала, по старой солдатской традиции щенку присвоили кличку Дембель, но, решив, что у аборигенов дембеля не может быть по определению, переименовали Шариком. Федюня посмеялся и сказал, что щенок на шарик никак не похож, уж больно худ, посему кличка Шнурок ему больше подойдёт. Так и закрепилось имечко.

Шнурку от роду было месяца полтора. Неведомой породы, какой-то рябой, с пятнами серого, чёрного, белого цвета, щенок обладал жизнерадостным характером, не обижался за случайно отдавленные лапы и хвост, весело бросался в возню с солдатами, поскуливал просительно, когда шурави трапезничали, и благодарно тьявкал, получив желаемое. Потом исчезал до следующего утра.

Так вот... Лейтенант Мухин оказался неплохим мужиком. «Вертушка» прилетела ближе к вечеру. Из тучи пыли, поднятой винтами, словно боггромовержец выскочил офицер и направился к блоку. Навстречу ему помчался Федюня, дабы указать безопасный путь, миновать минное поле. Солдат приблизился, удивлённо скользнул взглядом по офицерским погонам, по гладко выбритому, не обожжённому горным солнцем лицу и прокричал, перекрывая свист лопастей:

– Товарищ лейтенант, я вас проведу на пост.



Лейтенант недовольно скривился и пошёл за солдатом, сторонясь бегущих к МИ-8 бойцов. Пока солдаты перетаскивали на блок продукты, табачное довольствие, почту, Борисыч докладывал о состоянии дел новому командиру, не понимая, чем недоволен лейтенант.

«Вертушка» поднялась в воздух, надсадно тархтя двигателями, и умчалась в посвежевшее небо, унося солдатские письма.

– Сержант, почему солдаты не приветствуют офицера так, как положено по уставу? – хмурясь, поинтересовался Мухин, закуривая цивильную родопину.

– Дык, это... – лихорадочно соображал Борисыч, понимая, что лейтёха из молодых, необстрелянных,, в новенькой песчанке, с недавно ещё совершенно белой полоской подворотничка. – Товарищ лейтенант, не принято здесь честь отдавать! – И заторопился, предотвращая взрыв офицерского негодования. – Вам что, не говорили, что «духи» в первую очередь охотятся за офицерами?

Лейтенант поёжился, совсем по-детски округлив глаза:

– Как охотятся?!

– Да просто. Сейчас кто-то из местных шепнёт кое-кому, что, мол, так и так, на блоке появился офицер. Очень скоро об этом будут знать в горах. Снайпера у них отличные. Выберут мишень живо. Вот и... Вы бы и звёздочки сняли с погон, товарищ лейтенант, – кивнул на плечи офицера Борисыч, – наши-то знают Ваше звание, а тем, – махнул рукой в сторону кишлака, – Знать это совсем не обязательно.

Мухин растерянно докурил сигарету, решительно снял куртку и снял лейтенантские звёздочки с погон, сунул их во внутренний карман, натянул куртку

на себя, сел на ящик от гранат, протянул пачку «Родопи» сержанту и приготовился слушать дальше. Теперь Борисыч неторопливо рассказал о житейском бытии поста, представил каждого солдата, поведал о сосуществовании с кишлачком.

Лейтенант ничего не стал менять в распорядке поста, только приказал, чтобы водоносов сопровождал один свободный боец с автоматом наготове, прикрывающий во время забора воды остальных. Вызвано это было тем, что по некоторым данным, косвенным и принесённым разведкой, весьма и весьма возможна активизация «духов» именно на этом направлении. Впрочем, и Борисыч, и Федюня, и другие солдаты об этом догадывались сами. Ни для кого не секрет, что ближе к зиме «духи» стремятся спуститься с гор, неуютных и ледяных, чтобы отогреться, отъестся и подлечиться в долинных кишлаках, или попытаться пробиться для соединения с крупным формированием того же Хаджи Латифа. А весной опять уйти в горы, предав высокие идеи борьбы за ислам, нападать на слабые караваны, уводить из плохо защищённых кишлачков женщин и овец, да и вообще, наживаться так, как заблагорассудится, вступая в стычки не только с шурави, но и с соплеменниками из таких же мелких банд.

В целях маскировки Мухин решил присутствовать при встрече с Салимом, никак не выказывая того, что он – офицер. Дело чуть было не испортил Дурдыев, сказав при переводе, что «командор» требует в срочном порядке убрать остатки камыша с берега реки. Дурдыев хотел даже ткнуть пальцем в Мухина, но Борисыч, исправляя положение, слегка толкнул, незаметно для старейшины, толмача в спину, и Дурдыев перенёс поднятую руку, указывая на Борисыча через плечо.



Салим, как всегда, начал ныть, показывая руками, какие короткие ещё камышины, пытаюсь выжать из ситуации максимум пользы для себя но, не забывая зыркать в сторону нового лица, ранее ни разу им, Салимом, не видимого. Борисыч отметал все доводы старика и дал два дня на удаление камыша, потом указал на лейтенанта:

– Вот, видишь, у нас новый солдат? Он привёз с собой на шайтан-арбе, – намекая на недавний прилёт вертолёта, – большой огонь. Огнемёт называется. Если завтра до вечера камыш не успеете убрать, всё сожжём!

Салим похлопал носом, выклянчил-таки пачку «Памира» и ушёл, что-то недовольно бормоча.

Лейтенант остался доволен результатами переговоров. Приказал усилить караул. Теперь даже днём на постах дежурили по двое. Ночью Мухин и Борисыч по очереди проверяли караулы.

Каждое утро Шнурок появлялся на блоке, завтракал с солдатами, дремал в тенёчке, возился с отдыхающими, очень быстро подружился с лейтенантом и всякий раз пытался быть рядом с ним, хоть прикоснуться, если уж не потереться о ногу Мухина.

Указанный срок местные убрали камыш, теперь ничто не мешало осматривать противоположный берег. На следующий день Салим пришёл к посту.

Борисыч с Дурдыевым слушали старейшину, Мухин спрятался от глаз афганца, ушёл к пулемёту, чтобы не привлекать к себе внимание старика.

Салим опять завёл свою волюнку, что зима скоро, камыш не вырос как надо, всё плохо, еды мало, дров нет. В общем, он пришёл предложить обмен. Готовые плетёные камышовые циновки они хотят обменять на керосин или продукты. В принципе, циновки не помешают, рассудил Борисыч. Действи-



тельно, зимой можно и стены блока утеплить, и подстелить под себя.

– Ладно, несите, – разрешил Борисыч. – Дам камистру керосина и мешок муки!

Салим быстро собрался и ушёл, сказав, что сейчас и начнут обмен. Что-то тревожило Борисыча, колело иголкой, будоражило.

Мухин одобрил решение сержанта, надо укреплять дружеские отношения с местным населением. Почти в сумерках появились афганцы, каждый волок по две связки циновок. Борисыч рассматривал их в бинокль, наливаясь отчётливым чувством беспокойства. Сунул бинокль Федюне:

– Ну-ка, посмотри. Что не так?

Федюня старательно всматривался в чумазные чалмастые рожи, знобко впитывая в себя тревогу друга:

– Не пойму, Борисыч. Но что-то не так! Зови-ка лейтенанта!

Мухин тоже долго разглядывал приближающиеся фигуры, пытаясь понять, где, в чём скрыта опасность. Затем скомандовал, чтобы Федюня, Дурдыев и ещё двое бойцов пошли встречать меняльщиков.

Как только вышли солдаты из блок-поста, двинулись на встречу афганцев, Борисыч заорал:

– Назад! Назад, все!

Тут же приблизившиеся «духи» сбросили с плеч циновки, обнажая автоматы, и ударили по шурavi. Федюня с Дурдыевым успели заскочить внутрь поста, повезло. Двое других бойцов рухнули замертво в пыль. Наряд у ДШК тоже был срезан. В полный рост стояли, отличная мишень для автоматчиков на фоне восходящей за спинами луны. Одновременно с нападавшими из кишлака с другой стороны блока снайпер аккуратно, выстрелом в переносицу, убрал



бойца с РПК, вторым выстрелом ранив напарника пулемётчика. Тот крутнулся на месте и упал, ударился головой о каменистый пол блока, выгнулся всем телом, ковырнул каблуками ботинок тонкий слой пыли и затих, заливая вокруг себя чёрной кровью, страшной, заблестевшей широко разливающимся потоком в свете огромной луны, поднявшейся над изломанными вершинами гор.

«Духи» смело мчались к желанной цели. Вот он – блок-пост! Вот они – продукты и боеприпасы!

Мухин кинулся к ДШК и, почти не целясь, резанул очередью по душманам. Борисыч уже стягивал со стены уцелевший РПК, спешил к лейтенанту. Дурдыев плюхнулся возле амбразуры, передёргивая лишний раз затвором, только патрончик неиспользованный, обиженно скакнул в сторону, повёл стволом автомата, выискивая в разом наступившей темноте, залёгших «духов». Федюня под прикрытием пулемётного огня дважды выползал с блока, за таскивал трупы убитых солдат, и ещё раз вернулся за автоматом, соскользнув с плеча.

Лейтенант чутко прислушивался к происходящему за стенами поста. Вначале духи били из автоматов, на что Мухин моментально реагировал короткими грохочущими очередями крупнокалиберного пулемёта. Потом стихло. Душманы стали отползать назад, к кишлаку, но лейтенант стрелял на любой звук, очевидно нанося урон противнику. В конце концов, духи собрались с силами, просто вскочили и понеслись прочь.

В тишине все собрались внизу. Борисыч доложил командиру, что в живых остались только четверо. Мухин распорядился занять круговую оборону и связаться с полком. Федюня кинулся к рации, перекрывая треск эфира, сообщил о бое. Помощь обе-

щали не ранее утра, поскольку в темноте не только «вертушке» затруднительно искать место для посадки, да и беспомощную мишень легче всего сбить, но и на броне по ночной горной дороге проблематично добраться до блокпоста.

Убитых солдат стащили ближе к стене и прикрыли упавшим камышовым навесом. Не успели вернуться к своим местам, как из кишлака раздались миномётные выстрелы.

«Духи» били прицельно. Да и то сказать, времени досконально изучить блок-пост было предостаточно, хоть у того же Салима. Первым же выстрелом покалечило ДШК, грозу всей округи, тяжёлое оружие, при стрельбе пугающее даже своим яростным рычанием, не говоря о гибельной силе пуль, вылетающих из хищного раструба. Мощный и тяжёлый пулемёт накренился одноногим пиратом на покалеченной треноге, пополз вниз, со скрежетом цепляясь изуродованным дулом за стену блокпоста, и мёртво упал в пыль, звякнув оторванной крышкой затвора. Всё! Дальнобойного оружия нет. Борисыч огрызнулся длинной очередью РПК. Мухин толкнул его в бок кулаком:

– Прекратить! Экономь патроны. Ни хрена ты им не сделаешь сейчас. Если в атаку пойдут, тогда – да...

Но «духи» не торопились переходить к активным действиям. Куда торопиться? Понимали, гады, что поддержки шурави ждать неоткуда. Вся ночь впереди. Поэтому методично стреляли из миномёта, обрушивая стены блокпоста, загоняя защитников крепости внутрь помещения.

От досады Федюня и Борисыч, стискивали зубы, пригибаясь от каждого выстрела. Дурдыев стоял на коленях, отмахивая поклоны и шепча что-то не-



слышное в разрывах мин. Лейтенант бездумно смотрел на рацию, думая, сообщать или нет, что дело – табак! Потом передумал, решив, что успеет сообщить кто-то из оставшихся в живых, как тут обстоят дела.

Как только миномётный обстрел затих, Борисыч сунулся к выходу из помещения, глянул на развалины стен, выматерился и юркнул обратно.

– Хана, товарищ лейтенант, только тут можно обороняться! – и тоскливо осмотрел глухие стены убежища с одним единственным проёмом двери.

Федюня зло схватил РПК, выскочил наружу и залёг за россыпью камней, бывших совсем недавно стеной блокпоста. От кишлака слышался автоматный стрёкот. «Духи» попытались атаковать, но опять отошли, спугнутые пулемётной стрельбой.

Так было всю ночь. Сначала артобстрел из миномёта. Затем передышка и атака. Короткая стрельба из пулемёта. «Духи» откатываются назад и вновь артобстрел. Знали, ой, хорошо знали «духи», что соваться с тыла или с флангов – занятие бесперспективное и опасное, как не прикидывай. Вот и стремились заполучить возможность ворваться на блокпост сквозь узкую дорожку, совсем недавно обезвреженную от мин защитниками укрепления. Недаром всё же Салим столько раз ходил туда и обратно, разведчик хренов!

Из РПК стреляли по очереди. Когда Мухин готовился к броску внутрь помещения, неподалёку от него упала мина, щедро осыпав лейтенанта осколками. Благо, он был в бронежилете и каске, да и осколки вначале впились в остатки стен и кучи камней, но всё же наспиговали ноги офицера, вырвали клоками мясо, кое-где обнажив тело до кости. Мухин вполз в комнатку и потерял сознание. Борисыч с Федюней



вкололи лейтенанту шприц-тюбик промедола и перевязали бинтами ноги прямо поверху брюк.

Теперь «духи» решили не брать приступом пост, просто нанести ему как можно больше урона и тогда завладеть блоком. Мины падали одна за другой, теперь уже падая на крышу укрепления, обрушивая потолок и стены. Наконец, крыша рухнула вниз, прикрыв собой в дальнем от входа углу всех четверых шурави. Наступила полная тишина.

Лейтенант стонал, не приходя в себя. Федюня и Борисыч пытались выбраться из крысиной норы, в которую превратился блок-пост, торопились, срывали ногти и кожу с рук, пытались прокопать сквозь камни выход и занять оборону. Дурдыев молчал. Борисыч окликнул его:

– Толмач, ты живой?

Дурдыев слабо прошептал, что жив и опять замолчал, просто прислонился к стене спиной и тупо смотрел перед собой.

Попытки Федюни и Борисыча освободиться из плена ни к чему не привели, слишком толстый слой осыпавшихся стен придавил крышу, к счастью не упавшую плашмя внутрь комнаты, а рухнувшей наискосок, образовав щель между собой и стеной.

По победным крикам из кишлака, Борисыч понял, что это – конец. Полный и бесповоротный...

Но всё же, надежда брезжила – скоро утро. Надо продержаться как-то, пока не подойдёт помощь. Шикнул на всех, приказал вести себя тихо. Ни звука чтобы не было! Всё равно, отбиться не смогут, так хоть так, может, продержатся.

«Духи» были уже близко. Сначала слышался общий гул голосов, потом, вместе со скрипом раздавленных подошвами камней стали различимы отдельные голоса. А потом...потом застонал лейте-



нант. В тиши щели его голос, казалось, проткнул барабанные перепонки солдат. Дурдыев ужом скользнул к Мухину. Федюня углядел в проникшем сквозь беспорядочную грудку камней лучике света метнувшееся к лейтенанту тело переводчика и перехватил руку туркмена с длинным тонким кинжалом, направленным на горло офицера.

– Он нас всех сдаст, – шипел, плюя слюной, Дурдыев, – надо его кончить. Кто узнает? – бесновался, придавленный Федюней, насмерть испуганный солдат.

Федюня вывернул кинжал из ослабевшей кисти, сдавил горло Дурдыева пальцами левой руки, прижался губами к его уху:

– Заткнись, падаль! Я тебя самого сейчас кончу! Молчи...

Борисыч вытянул из аптечки ещё один шприц с промедолом, вколол лейтенанту, зажав его рот ладонью. Лейтенант слабо откинулся головой на колени Борисыча и затих.

«Духи» ходили по бывшему блок-посту, ковырялись в развалинах, стаскивали обувь и одежду с трупов, стреляли в кучи камней, разочарованно галдя, понимая, что поживиться особо нечем.

Федюня замер, прильнув лицом к щели. Прямо перед глазами увидел носки сапог «духа». Потом перед ним появились колени, а следом в щель между камнями протиснулся ствол автомата. Федюня еле успел отпрянуть назад, бесшумно повалиться на пол, как пули со страшным грохотом зажужжали, застучали по стене. Благо, щель не дала возможности поводить стволом в разные стороны, посему все уцелели. Отойдя немного от страха, Федюня прислушался:

– Борисыч, а ведь нам – крышка!



– Чего это? – прошептал Борисыч, удерживая весом своего тела всё ещё обомлевшего Дурдыева.

– Слышишь? Кто-то сквозь камни продирается, – так же тихо шептал Федюня.

Дурдыев испуганно всхрипнул.

Действительно, с другого конца завала слышалась возня и шум отбрасываемых камней. Замерли, почти не дыша. Вскоре Федюня облегчённо выдохнул:

– Шнурок...

Точно. Из образовавшегося отверстия выскочил щенок, победно встряхивая ушастой башкой, отряхиваясь от пыли, кинулся к Мухину, потёрся о ботинки лейтенанта, подскочил и лизнул его в нос.

– Тихо. Тихо! – забормотал Борисыч, вытаскивая из кармана сухарь, сунул щенку.

Тот благодарно взлаял, принялся грызть угощение.

Федюня вновь прильнул к щели, из которой их недавно обстреляли. Явственно слышался голос Салима, грустный, разочарованный.

– Вот, сука старая, – ярился Федюня, – нажиться захотел, урод!

«Духи» покрутились ещё немного по развалинам, захватили с собой оружие и всё, что представляло хоть малейшую ценность, и отправились вон, понимая, что вот-вот нагрянут шурави.

Лейтенант в обморочном сне дёрнул ногой, придавив Шнурка, тот взвизгнул, собираясь затявкать обиженно, но Федюня, опережая щенячий протест, навалился на него, сжал челюсти Шнурка ладонью и чиркнул глубоким порезом лезвием кинжала по горлу собаки. Шнурок крупно дрогнул всем телом, засучил лапками и затих, мягко втягивая бока.



Через полтора часа на кишлак обрушился огонь спарки вертолётов. По уходящей в горы цепочке «духов» ударили авиационные пушки, сбрасывая недавних победителей с тропы, ломая и коверкая их тела. Кто знает, может быть, и удалось кому-то из них уйти. Во взметнувшейся ввысь пыли трудно было разобрать что-либо. Через час от подножия гор пришла бронетехника. Ползвода высадились у развалин блокпоста, остальные ринулись на зачистку кишлака.

Освобождённые из завала сидели у стены. Мухин лежал головой на коленях Борисыча, пытаясь понять, что произошло, сквозь туман боли и уколов. Борисыч же, раненый срикошетившей пулей сквозь щель завала, морщась, потирал задетое плечо, уже в бинтах, промокших кровью. Дурдыев сидел в стороне на коленях и тихонечко подвывал. А Федюня всё гладил и гладил ладонью в запёкшейся крови тело худого щенка, и редкие слёзы чертили тонкие чистые полоски на его замурзанных щеках.

Гром победы, раздавайся...

Рассказ-воспоминание

Посвящается учителям

Я не могу поверить, что это было давно – шестьдесят пять лет тому назад. Нет, это было вчера или, в худшем случае, позавчера. Так все хорошо сохранилось в моей памяти, что уму непостижимо.

Было раннее утро, еще сияли на черном небосводе звезды, вставала над горизонтом ослепительная Венера, когда в нашу дверь кто-то начал колотить изо всех сил, кричать: «Просыпайтесь, мы победили!» Это сосед дядя Саша – у него был радиоприемник – услышал, что в Берлине фашисты подписали акт о безоговорочной капитуляции и поспешил с великой новостью к нам. Еще через полчаса я и дети соседа по дому, мой друг Митька побежали по длинной Октябрьской улице в «школяндру», где мы учились. Несмотря на ранний час в школьном дворе было много людей – в основном женщин и детей. Среди них радостно суетился дедушка Тихон – единственный мужчина среди наших учителей, живший при школе с незапамятных времен в суровом одиночестве. Он не был полноценным педагогом, у него не было семьи, но обязанности у него были широкие. Де-



**ВАДИМ
ЧЕРНОВ**

Проза





душка Тихон, по распоряжению директриссы Марии Семеновны выполнял обязанности коменданта, истопника, физрука и даже военрука школы, носившей имя «неистового Виссариона» – Белинского. Говорили, что до революции он был монахом и пел в церкви Ново-Мариинского монастыря, который находился до революции в другом конце Октябрьской. И это было похоже на правду! Он носил окладистую седую бороду, обладал поразительно звучным голосом и умел играть на пианино. Бывало, как рявкнет на нас, мелкоту: «Смирно, воробьи!», что мы вздрагивали каждый раз и с удовольствием вслушивались в его раскатистое «р», похожее на рычание льва. Но душа у него была добрейшая, ребяташки уважали его, а девочки любили, как родного. Так и крутились около него, щебетали: «Дедуля, дедуля...»

Когда во дворе школы появилась строгая, всегда подтянутая, как солдат, Мария Семеновна и другие педагоги, галдеж среди собравшихся учеников мгновенно прекратился. Директриссу не только уважали, но и боялись. И тут раздался мощный гудок Гулиевской мельницы на другом конце Ставрополя. Он многих будил, в том числе и нас, школьников, тех, кому надо было идти на работу все годы войны. Но тогда, девятого мая 1945 года многие жители города проснулись раньше гудка по той же причине, что и мы.

Все эти незабываемые минуты дедушка Тихон стоял около Марии Семеновны по стойке смирно, как часовой у мавзолея на Красной площади, затем после гудка что-то прошептал директриссе. Она согласно кивнула головой, а он, набрав в свою тощую грудь как можно больше воздуха, пророкотал, подражая Левитану:

– Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза...

Сегодня, дети, в связи с днем Победы, уроки отменяются!

Его слова чопорная Мария Семеновна подтвердила легким кивком головы, а мы закричали: «Ура!» И стали разбегаться, кто куда. Мой друг Митька предложил бежать на Комсомольскую гору, братья Мамай решили идти на пруды, которые – благо – были неподалеку от школы, ловить рыбу и жечь «самый большой костер». Я заколебался, увидев запыхавшуюся мою тетушку Фатиму, тоже учительницу. Она тащила две тяжелые кошелки и взглядом позвала меня, мол, помоги. Взяв кошелки, я понял, почему опоздала тетя Фатима, в них было полно еды и даже выглядывали две бутылки с самогоном и домашним вином. Она, наверное, собирала это по всей нашей улице для школьных учителей, чтобы они отметили великий день Победы над фашистской Германией. А жили мы в тот год необыкновенно скудно, если хотите, голодали. Многие дети ходили в школу только потому, что там на завтрак в младших классах давали по кусочку желтоватого кукурузного хлеба, иногда – жмых, который был для нас лакомством. Я никогда не забуду того, как старательно разрезала буханки Мария Семеновна, делила хлеб на «пайки» по числу учеников. Но в полном составе на занятия приходили далеко не все. На столе оставалось порой более десяти кусочков хлеба. Их судьбу решали мы, дети: «Это вашим девочкам, Марь...вна!»

У нее было три дочери. Старшая, Анна, воевала на фронте, а позже, вернувшись с войны, учительствовала, потом работала заврайоно. Ее многие помнят по сей день. Средняя, Наташа, училась в институте, самая младшая, Женя, заканчивала школу. Им завтрак на занятиях никто не давал, но кушать они хотели не меньше нашего. И мы, мелкота, это знали. Мария Семеновна брала пайки отсутствовавших учеников со слезами на глазах...

Тяжелые кошелки я донес только до кабинета Марии Семеновны. Их подхватил дедушка Тихон, а тетя Фатима строго сказала: «Ты свободен, иди до-



мой, бабушка тебя покормит». Но чем, если я знал, что в нашем доме было лишь полмешка овса, который нам дали родственники из Каменнобродки? Мы его варили неочищенным, добавив в «брандахлыст» – так называла бабушка варево – несколько полугнилых картошек и «для вкуса» пошедшую в рост крапиву, щавель и даже молодую лебеду. А из кошелок шел соблазнительный запах сала, бараньей колбасы... Про звон бутылок я уже не говорю. У меня в животе «кишка кишке писали протокол». Но знай, сверчок, свой шесток! Однако сразу я не ушел. Мне было удивительно, неужели наши «училки» будут пить самогон? И поэтому я остался около закрытых дверей кабинета Марии Семеновны, слышал звон стаканов. Разливал самогон, как видно, дедушка Тихон, декламировал своим звучным левитановским голосом Державина: «Гром победы раздавайся, веселись, храбрый росс!»

Затем все стихло, кое-кто из «училок» заплакал... Первую рюмку они выпили, как я понял, не чокаясь, за погибших на войне, что я, как будущий защитник Отечества, мысленно одобрил.

Затем раздался тихий, но внятный голос Марии Семеновны. Она сказала тост, смысл которого я не забуду до конца жизни: «Бабоньки, миленькие вы мои, выпьем за победу! Она общая, одна на всех. В этой войне победили прежде всего мы, учителя великой страны. Это мы, учителя, воспитали поколение победителей, таких как Гастелло, Матросова, Космодемьянскую, Севрюкова и многих других мальчишек и девчонок...» Скорее сердцем, а не умом я понял, что она права, победили учителя, воспитавшие миллионы патриотов.

Теперь я, доживший до преклонных лет, думаю, что неслучайно, наверное, 2010 год объявлен годом Учителя, в юбилейный год Победы «с сединою на висках».

«Гром победы раздавайся, веселись, храбрый росс!» Баритон Тихона я и сейчас слышу так, как будто он рядом... И затем голос Марии Семеновны: «Бабоньки, миленькие вы мои...»

**Ставрополь:
польский взгляд
из XIX века**

Девятнадцатое столетие стало периодом, когда судьбы Кавказа и Польши причудливо переплелись в истории Российской империи. Сначала здесь появились около 10 тыс. польско-литовских солдат и офицеров Великой армии, взятых в плен в ходе войны с Наполеоном. Они стали первой волной массовой миграции поляков на Северный Кавказ (1812-1814 гг.). Большинство пленных вернулись на родину, но часть их осталась на Кавказе, приняв российское подданство. Сама же Польша после наполеоновских войн вошла в состав Российской империи. Когда России потребовалось усилить свое военное присутствие на Кавказе, логичным выходом стала отправка туда реальных (после подавления польского восстания 1830-1831 гг.) или потенциальных польских мятежников.

К последним относились участники тайных демократических обществ и задействованные в революционной пропаганде персоны, которых



**АЛЕКСЕЙ
КРУГОВ
МАКСИМ
НЕЧИТАЙЛОВ**

Краеведение





правительство наказывало «сдачей в солдаты», принудительно переводя в разряд военных. Тем самым русское правительство преследовало две цели: поляки воевали в составе русской армии, а не против нее, а во время очередного мятежа польские солдаты, находясь далеко от родины, не имели бы возможности присоединиться к повстанцам.

Поляки причислялись как к регулярным, так и к казачьим полкам, постоянно нуждавшимся в людях. Так, в ноябре 1833 г. новочеркасский полицмейстер сообщил в Ставропольское полицейское управление: «Нижних чинов бывшей Польской армии Шимон Цылельский, Антон Расподельский, Антон Свербило, Иаков Гваздицкий, прибывших сюда в город Новочеркасск из Киева... следующих в Кавказские линейные казачьи полки я вместе с сим отправил их посредством Внутренней стражи с кормовыми их деньгами до города Ставрополя и... прошу Ставропольское городовое управление чинов сих по принятии их в Ставрополе представить к командующему войсками на Кавказской линии господину генерал-лейтенанту и кавалеру Вельяминову и мне о том доложить». Кавказ был регионом, где продвижение по службе происходило быстрее всего, а следовательно, и быстрее всего появлялась возможность отставки и возвращения на родину.

Нами публикуются фрагменты из записок служивших тогда на Кавказе польских ссыльных, посвященные описанию города Ставрополя. Начнем со Станислава Пилята (1802-1866), который оставил хронологически наиболее раннее упоминание Ставрополя. Здесь ссыльный поляк оказался в конце 1831 года.

К сожалению, о самом городе в записках Пилята практически ничего не сказано: «Первая наша

встреча с властями по прибытии на Кавказ состоялась в Ставрополе, главном городе этой губернии. Посчитав нас, в числе прочих, уже там находящихся, пленных, потом нас поделили на пять отделений, каждое из которых предназначалось для конкретного полка. Полковник 39-го егерского полка, потерявший много людей в походах на черкесов, просил главнокомандующего, чтобы он мог отобрать в свой полк несколько десятков пленных, и получил разрешение. Тогда начался новый отбор, и старательное попечение Провидения сделало так, что нас, 11 студентов, присоединили к пятидесяти молодым и здоровым ветеранам в отделении, предназначенном для 39-го полка. На следующий день всех нас отправили маршем на Кубань, где находился полк».

Вторым поляком, описавшим Ставрополь, стал ссыльный Иполит (или Ян) Яворский (1812-1877). Он принимал участие в Польском восстании под псевдонимом «Древновский». После поражения восстания эмигрировал, жил во Франции и Англии. В 1835 г., по возвращении на родину, Яворский был арестован и направлен в Отдельный Кавказский корпус, где служил в Апшеронском пехотном полку. После 11 лет службы получил офицерский чин и разрешение вернуться на родину, был назначен смотрителем Лазенок и царских дворцов. Во время мятежа 1863-1864 гг. был среди сторонников одного из его предводителей, Л. Меросдавского, получил чин полковника, затем эмигрировал, жил в Брюсселе. Свои мемуары Яворский издал в Познани (Германия) и под псевдонимом, что исключает какое-либо влияние русской цензуры. Между тем, этот автор откровенно признавал, что оккупация Россией [Кавказа] явилась абсолютной необходимостью».



Описание Ставрополя в записках Яворского относится к 1830-1840-м гг., исходя из времени его появления на Кавказе и упоминания сразу после фраз о Ставрополе эпизода из его жизни в 1844 г. Особый интерес вызывает характеристика санитарного состояния города. Крысиные массовые променады, вероятно, несколько преувеличены. В отличие от поляка, другие гости города проследить передвижение группировок этих малопривлекательных грызунов не считали нужным. Тем не менее, крыс, пусть и не столь огромных, можно при желании легко найти и в Ставрополе наших дней, хотя не всегда на поверхности земли. А вот о другой реальной детали животного мира города – разгуливающие по слободкам свиньи, – ни поляки, ни другие иностранцы ничего не сообщают.

Дата постройки водопровода приводится Яворским неточно – не 1839, а 1840 год. Хронологическая погрешность, впрочем, невелика. Упомянув о наличии залежей ракушника в городской черте, автор, однако, не счел нужным сообщить, что этот добываемый здесь камень становится главным строительным материалом города. Зато греческое происхождение содержателя ставропольской гостиницы Петра Афанасьевича Найтаки Яворский указал правильно. Наконец, мы имеем красочное описание ярмарки, и, в завершение рассказа о Ставрополе, – особенности местного климата.

Следующий мемуарист – Матеуш Гралевский (1826-1891), прослуживший на Кавказе 12 лет. Матеуш родился в деревне Мазев Ленчицкого уезда в крестьянской семье. Но окончил местную начальную школу с такими хорошими результатами, что управляющий деревней, профессор В. А. Мацейовский, заинтересовался им и дал ему направление в гимназию в Ленчице. Там мальчик

сменил фамилию Граля или Граляк на более благозвучную – Гралеvский. Гимназию окончить не удалось, он попал в монастырь ордена кармелитов и одновременно стал преподавать в школе. Позднее Гралеvский служил в правлении Мазовецкой губернии. За принадлежность к кружку Томаша Вернера, являвшемуся ячейкой конспиративной организации «Союз польского народа», был арестован и отправлен в Кавказский корпус (1844 г.), предварительно получив 20 шпицрутенов. В Ширванском полку Гралеvский прошел путь от простого солдата до офицера полкового штаба, пока не получил разрешение вернуться домой (1856 г.).

В отличие от Яворского, Калиновского и Давида, Гралеvский по отношению к России выступает как типичный польский националист. Его описание Ставрополя относится к 1840-м гг. Вероятно, личные впечатления автор позднее дополнял более свежими сведениями. На данное обстоятельство указывают, в частности, ссылка на административные преобразования 1847 г., когда Кавказская область была переименована в Ставропольскую губернию, и наличие «православной семинарии» (Кавказская духовная семинария была открыта 13 ноября 1846 г.). Краткий экскурс в историю Ставрополя у Гралеvского в целом точен, но не обошлось без ошибок.

Любопытно сравнение обезличенного облика города «со всеми новыми русскими городами». Но ведь Ставрополь «никогда и не был похож на азиатский город: Азиаты составляют самую незначительную часть его народонаселения». Схожую реакцию встречаем в несколько более позднем произведении В. А. Соллогуба «Иван Васильевич на Кавказе». Здесь, очевидно, нашли отражение



впечатления самого автора от встречи с Кавказом. Главный герой очерка, торжественно прибыв в «губернский город Ставрополь», был немало удивлен, «когда он увидел город, похожий на все губернские города второй руки. Единственная большая улица, бульвар, заборы, слободка, выглядывающая в поле, присутственные места, чиновники на всех перекрестках и во всех окнах, вывески присутственных мест, гостиница с плохими номерами, общий губернский вид; но только без дворянства, придающего ему жизнь. Все это странно озадачило искателя кавказских впечатлений. Он уже начал думать, что Кавказа нет вовсе, что его выдумали охотники похвастать; тщетно уверяли Ивана Васильевича, что из Ставрополя уже видны оконечности исполинского хребта. Он приподнимался на цыпочки, тарасил глаза, но все, кроме степи кругом, кроме облаков на небе, ничего не видал. Он только тогда начал понимать, что он не в степной великорусской губернии, когда перед ним мелькнули по бульвару офицеры в мохнатых бараньих шапках с шашками на перевес. В уличном движении изобличалось что-то воинственное; но не то воинственное спокойствие, которым он любовался на Дону, а нечто озабоченное, походное, отзывающееся соседством близкого, но невидимого неприятеля».

Гралевский, как и Яворский, упоминает в городе наличие армянского храма и католической часовни (третий, православный, – Троицкий собор). Строительство в Ставрополе армянской церкви Св. Григория Просветителя затянулось на годы из-за недостатка средств и было завершено только в 1836 г. Церковь была деревянной и облицованной камнем, с двумя куполами. Католический костел (закончен в 1845 г., стоял на Театральной улице) был необходим для обитавшего в городе неболь-

шого количества лиц римско-католического вероисповедания – символа национальной принадлежности для поляков.

Кавказское областное правление предписало составить именные списки «о проживающих (sic!) в городах римско-католического исповедания лицах», чтобы отослать оные моздокскому курату ордена реформатов иеромонаху Антонию Шиманскому, который бывает «для исправления треб духовных» в городах Ставрополе, Георгиевске и Кизляре «по обрядам Западной церкви» (1828 г.). Католиков в Ставрополе оказалось 24 чел., самого различного происхождения: мещане (шесть человек – из них по меньшей мере один, Семен Мартынович Кравцов, был из числа военнопленных 1812 года), коллежский асессор с семейством (всего 7 чел.), отставной унтер-офицер, канцеляристы (3), отставной юнкер, двое чиновников, дворянка и «живущая возле госпиталя фершельша а как звать и прозывать по не бытности ее в доме неизвестно».

Временный театр, о котором пишет М. Гралеvский, – набранная в 1841 г. отставным губернским секретарем Г. П. Яценко труппа. Спектакли (главентствовал в репертуаре водевиль) она давала в здании, построенном купцом-иностранцем Адольфом Блюмом – временный деревянный дом на каменном фундаменте, в аварийном состоянии. Современники критически оценивали и состояние здания театра («походил во многом на лубочный балаган»), и деятельность самого антрепренера. Бульвар (ныне бульвар им. А. П. Ермолова на проспекте К. Маркса) именуется у Гралеvского «Головинским» по той причине, что был заложен (точнее, та его часть, что позднее именовалась «Верхний бульвар») в бытность главнокомандующим на Кавказе генерала



Е. А. Головина. Описание бульвара находим у другого польского автора, К. Калиновского.

«Обширные военные канцелярии» у Гралевского можно перечислить благодаря документам на 1844 г. Это канцелярия жандармского штаб-офицера (4 чел.), штаб 14-й пехотной дивизии (102 чел.), штаб войск на Кавказской линии (125), штаб 20-й артиллерийской бригады (17), штаб 1-го Кавказского линейного батальона (935), ордонансгауз (12). А также военный госпиталь (193), комиссариатская комиссия (306), арестантская рота № 46 (17 чел., не считая арестантов), жандармская команда (33 чел.) и подвижная инвалидная рота № 81 (136 нижних чинов).

Третий уроженец Польши, оставивший описание Ставрополя в своих записках, Кароль Калиновский (1821-1882), родился в обедневшей шляхетской семье. Вероятно, еще учась в Варшавской гимназии, он вступил в тайную организацию «Объединение польского народа». Работая чертежником на металлообрабатывающем заводе, Калиновский был арестован и обвинен в намерении тайно выехать из Царства Польского. После четырех месяцев заключения был освобожден, однако через пять лет вновь арестован, на этот раз за связь с кружком Т. Вернера. По представлению следственной комиссии, утвержденном позднее И. Ф. Паскевичем, Калиновский, после девяти месяцев заключения в цитадели, был отправлен в Отдельный Кавказский корпус (1844 г.). Следующим летом прибыл в крепость Внезапную. Год спустя Кароль попал в плен к горцам. В своих мемуарах описал жизнь в плену (существует их пересказ на русском языке); Калиновский так и не адаптировался к жизни среди горцев и не смог стать там «своим». Заканчиваются воспоминания описанием бегства

Калиновского к русским. Он вернулся на службу, дослужился до офицера и возвратился на родину.

Описание Ставрополя у Кароля Калиновского относится к 1840-1850-м гг. Автор довольно скуп на подробности. Тем не менее, он, единственный из польских мемуаристов, подчеркнул значение Ставрополя как экономического центра Предкавказья, а также отметил, что город находится в красивом месте. (Увы, слишком многих гостей Ставрополь разочаровывал, особенно в первый век своего существования!) Упоминание каменных колонн на бульваре позволяет датировать текст временем после 1851 г., когда в начале Нижнего бульвара были поставлены каменные декоративные столбы – колонны в виде пирамид.

Наконец, В. Давиду принадлежит, пожалуй, самое яркое и подробное описание города Ставрополя, в котором он провел какое-то время. ГЗинцентий Давид (1816-1897; настоящая фамилия Давидовский) успешно завершил учебу на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где изучал математику и философию. Давид работал учителем гимназии, вступил в конспиративную организацию А. Карпиньского, готовившую восстание в Царстве Польском. Организация была разгромлена, Давид оказался среди арестованных. Его обвинили в чтении запрещенных книг и участии в непозволительных политических разговорах. Однако, дав показания на других подсудимых, Давид добился смягчения приговора. Решением следственной комиссии его направили в Отдельный Кавказский корпус рядовым (1845 г.). Он выехал на Кавказ вместе с двумя другими членами организации – Херонимом Плавиньским (коллега по гимназии) и Марцином



Шимановским. С Плавинским Давид расстался в Ставрополе, а вместе с Шимановским они ехали до Грозного. Там Давид и провел большую часть своей службы, неоднократно участвуя в экспедициях против чеченцев. Его вновь обвиняли в конспиративной деятельности, однако, после непродолжительного расследования, Давид был оправдан и освобожден. По истечении срока ссылки, вернулся на родину, где продолжил работу в гимназии.

Ставрополь произвел на поляка впечатление большого, красивого и величественного города. Из него он видел «двуглавый Эльбрус, порой появляющийся из-за тучи, или сверкающий в светлом сиянии заходящего солнца». Из деревьев ставропольского бульвара не упомянуты разве что тополя. Обстоятельства снабжения города водой изложены верно, хотя колодцы в верхней части города все же преимущественно давали хорошую воду, без горечи. Отметим сообщения о здоровом местном климате, Бабиной роще, Воронцовском саде, о каменных тротуарах и господствовавшей до того на улицах Ставрополя вселенской грязи, о составе ставропольского общества (в основном военные) и о наличии здесь неплохого театра. Справедливо замечание о слабо развитой ремесленной промышленности и внешней торговле, как и объяснение причин этого явления. Как свидетельствует отчет за 1836 г., «по неимению в городе Ставрополе водяных коммуникаций и рыбных заводов жители здешние, сверх производимой некоторыми из них торговли, разного российского изделия и других промыслов, имеют главнейший источник промышленности своей, продажею в российских губерниях, и обеих столицах рогатого скота в здешней области покупаемого...».



Как и М. фон Коцебу, Давида поразило обилие зелени и деревьев в городе и округе, что резко контрастировало с природой региона.

Далее В. Давид описывал свою остановку в «этом огромном с виду кавказском городе». Он квартировал на Воробьевке, решив выбрать помещение «за плату, отказавшись от добровольных бесплатных квартир, которые по городам всегда имелись не совсем удобные». Тут же он наткнулся на дом (с садом) соотечественника, «рядового 1-го линейного ставропольского батальона» по фамилии «Орл», проживающего в Ставрополе уже пятнадцать лет. Все в этой семье напоминало гостям о Польше: от польской речи до польской пищи и иконы Остробрамской богородицы. Возможно, хозяином Давида был Станислав Кузьмич Орловский, мещанин Плоцкой губернии, который был взят в плен 5 июня 1832 г. и зачислен в 1-й Кавказский линейный батальон, расположенный в Ставрополе. По окончании военной карьеры он, как и другие военнослужащие «из бывшей польской армии», продолжал службу уже в рядах ставропольской полиции. Орловский был в числе тех, кто «на службе при сем управлении более восьми лет при хорошем их поведении всегда исполняли долг службы со всею точностью и никогда в пьянстве и других дурных поступках не замечены». За усердную службу и «хорошее поведение» он был награжден унтер-офицерским званием (1852 г.).

Тем не менее, отождествление гостеприимного хозяина Давида с Орловским лишь гипотеза. Сам пан Винцентий нигде не говорит о службе пана «Орл...» в полиции, упоминая лишь его «увольнение с военной службы».

Приложение: Тексты. *И. Яворский. «Воспоминания о Кавказе».* (Публикуется по изданию:



Jaworski H. Wspomnienia... S. 7-8. В квадратных скобках приведены номера страниц оригинального издания).

«[7] Ставрополь – первый город, который встречаешь при въезде в пределы Кавказа со стороны земли донских казаков. Выстроенный на маленькой возвышенности, в основе состоящей из раковистого известняка (*cardium rusticum*), насчитывающий около 15000 жителей, включающий несколько красивых зданий, а именно: штаб командования Кавказской линии и Черномории, театр и ресторация грека Нейтаки, – кроме того, много других каменных домов, одно- и двухэтажных, два храма, православный и армянский. В центре города есть что-то вроде бульвара, который служит жителям местом для прогулок, а рядом с ним один колодец, снабжающий водой весь город. До 1839 года воды совсем не было в Ставрополе, но приходилось ее возить за две версты, что было крайне обременительно и дорого. Лишь в упомянутом году один из купцов за свой счет довел источник до города с помощью водопроводов и выстроил общественный колодец. К особенности Ставрополя надо отнести необычайное количество огромных крыс, которые, как только смеркается, колоннами прогуливаются по водосточным канавам, дворам, даже [8] улицам. Среди них видны некоторые, достигающие размерами обыкновенного кролика.

Никакой рыночной площади не имеется; так что ярмарки и базары устраиваются за городом, на красивой равнине, что протянулась вдаль, в пределах видимости. Ярмарки бывают общие и те, что делятся по четным дням недели. Весьма живописный вид имеет тогда огромный караван-сарай, то есть, вернее сказать, целый городок с несколькими улицами,

воздвигнутый из полотна и равендука, наполненный всяческими европейскими и азиатскими товарами, начиная от нитки с иглой и т. п., вплоть до наизысканнейших шелковых тканей, ковров, часов и других драгоценностей, окруженных множеством палаток, лавочек, телег, конями, скотом и т. д., среди которых толпа в несколько десятков тысяч персон разных национальностей в самых разнообразных, безудержно переливающихся (на солнце) нарядах.

Округа здешняя безлесна, на все стороны открытая; поэтому летом жара невыносимая, а зима часто очень суровая и опасная для путешественника, незнакомого с местностью».

М. Гралевский. «Воспоминания о двенадцатилетней неволе» (Публикуется по изданию: *Gralewski M. Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli.* Lwow, 1877. S. 26-27. В квадратных скобках приведены номера страниц оригинального издания)

«[26] Ставрополь тоже нас привлек, как обширное обиталище 30-тысячного населения. Сначала он был одной из четырех крепостей, основанных в 1777 году на Кавказской линии, а вскоре становится станицей казаков Хоперского полка. В 1786 г. он получил статус уездного города, а после переноса в 1822 г. губернского правления в Георгиевск, стал главным городом Ставропольской области. В 1847 г. эта область вновь названа губернией, а город стал ее столицей. – Тут сосредоточены несколько органов власти. Кроме губернаторского правления, существуют обширные военные канцелярии, а также правление православного духовенства, гимназия с казармами, пансион правительственный и частный женский, православная семинария, временный театр и сиротский приют.



В целом город выглядит монотонно, схоже со всеми новыми русскими городами. Все улицы [27] расходятся широко, редко застроены, дома снаружи выглядят опрятно, но похожи друг на друга. Стоящий на холме собор, военный госпиталь, пара других зданий и еще Головинский бульвар для гуляния несколько оживляют незрелый, чахоточный облик города.

Впрочем, тут нет ничего особенного; разве что, кроме нескольких православных церквей, город располагает армянским храмом и католической часовней.

Пробыв здесь несколько дней, снаряжаясь в дальнюю дорогу, пришлось расстаться со ставропольским разнообразием...».

К. Калиновский. *«Дневник моей солдатской службы на Кавказе и плена у Шамиля с 1844 по 1854 год» (Публикуется по изданию. Kalinowski K. Pamitnik Mojej zolnierzki na Kaukazie iniewoli u Szamilia. od roku 1844 do 1854. Warszawa, 1883. S. 10).*

«Ставрополь заслуживает внимания как торговый город и первый на дороге из России на Кавказ. Вдобавок, он находится в довольно красивом месте и тщательно застроен. Посреди города, у главной улицы, широкой и длиной почти в версту, устроен бульвар для общественных прогулок, в тени деревьев и украшенный довольно красивыми каменными колоннами».

Кавказское вдохновение Ольги Форш

Основоположница советского исторического романа

Феномен писательницы Ольги Дмитриевны Форш – один из самых загадочных во всей советской литературе. Автор замечательных исторических романов, кумир сотен тысяч в «самой читающей стране мира», она была почти забыта в 90-х годах прошлого века. По крайней мере, после ошеломительных СССР-овских тиражей в новой России ее произведения почти не переиздаются...

Возможно, охлаждение интереса к творчеству Ольги Форш объясняется тем, что львиная доля ее литературного наследия посвящена известным революционерам – Пугачеву и Радищеву (одноименные киноповесть и роман), декабристам (роман «Первенцы свободы») и большевикам-подпольщикам (пьеса «Камо»). После того, как Советский Союз канул в Лету, эта тема безнадежно устарела. Ольга Форш, которая у большинства читателей ассоцииро-



РОМАН НУТРИХИН

Краеведение





валась с описанием революционной борьбы, тоже, что вполне закономерно, вышла из моды.

Между тем, вопреки сложившемуся стереотипу, Ольга Форш никогда не была ни «пролетарской писательницей», ни даже «простым советским человеком», которого усиленно формировала современная ей действительность. На протяжении всей жизни Ольга Дмитриевна оставалась самобытным писателем и мыслителем, оставив нам непревзойденные и неповторимые по силе художественного творчества исторические романы.

Ольга Форш появилась на свет в дворянской семье, под небом Северного Кавказа. Она с гордостью упоминает об этом в рассказе «Дни моей жизни»:

«Родилась я в крепости Гуниб 16 мая 1873 года. Отец мой, генерал Дмитрий Виссарионович Комаров, был тогда начальником Среднего Дагестана, и штаб его стоял в единственном каменном доме над глубоким обрывом-кручей, на дне которого ютился татарский аул».

Генерал Комаров, двадцать пять лет кряду прослуживший на Кавказе, отличался не только воинской доблестью, но и прекрасным образованием. Это была вообще очень интеллигентная семья. «Отец, – отмечала Ольга Форш, – состоял членом Географического общества, дядя мой, А.В. Комаров, генерал-губернатор Закаспийской области, бравший Кушку, считался незаурядным археологом. Часть его коллекций и раскопок, сделанных в курганах, принесены в дар Московскому историческому музею». Увлечение генерала Комарова географией Кавказа было столь велико, что даже маленькую Ольгу в доме прозвали «Топочкой», что было «уменьшительным от зверя – тапир».

Маленькая «воспитанница гор» рано потеряла мать, spolна вкусив горечь сиротства. «Мне было



несколько месяцев, – пишет она, – когда моя мать, молодая армянка, оставив меня на попечении няни и денщиков, уехала с отцом в Петербург, где внезапно умерла от холеры.

Отец вернулся домой с бонной, которая и взяла в свои руки мою судьбу. Это была немолодая уже девица без особого образования. Помню ее назидания в самом раннем детстве: «Будь как девочка. Вышивай крестиком. Вяжи шнурок». Я тупо вязала на костяной рогульке никому не нужный шнурок, но чаще убегала на чердак, где жили голуби, дралась с мальчишками на улице и ходила с ними в поход – опустошать соседний прокурорский сад. Быт этих ранних лет описан мною в рассказе «Виев круг»».

Этот эпизод крайне важен для понимания того, как формировались ее мистические настроения, так что обратимся к названному рассказу:

«Мне было не много лет, когда братья, зазвав меня в сад под черешню, наперебой рассказали мне о том, как привели к Хоме Бруту железного Вия, как Хома не должен был на него глядеть, как он, не выдержав, обернулся и был схвачен чертями.

Вечером рано ложились спать. Почему-то в генеральской квартире, при двенадцати комнатах, дети спали, девочка и мальчики, все вместе, далеко на отлете.

Нянька Агафья, по обычаю, надолго сгнула к денщикам, а братья, едва меня одолел первый крепкий сон, вытащили из кровати, посадили среди пола и сказали:

– Надо всем отречься от бога, и тогда увидим фокус-покус. Ты самая младшая, говори первая... – Мне было очень интересно увидеть фокус-покус, и я скороговоркой сказала... Но братья вслед за мной этого не сказали. Они вскочили, очертили меня быстро мелом, страшно вскрикнули:



– Если выйдешь из круга, тебя возьмут черти! Навсегда помню, как было холодно, как смертельно страшно. И вдруг, будто на качелях, когда летишь вниз...

Нянька нашла меня в обмороке, но старшим не пожаловалась, потому что боялась, как бы не влетело ей самой. Не жаловалась и я, запуганная мальчиками, что в случае моего фискальства Вий нагонит мне в постель целую тысячу черных, ужасных тараканов».

Уже в ранней юности воображение будущей писательницы, питаемое сюжетами гоголевского «магического реализма», клонилось ко всему таинственному. Очень скоро это развилось в ней в ярко выраженное мистическое чувство, сквозь призму которого она стала воспринимать реальность, легко преобразуя ее в яркие художественные образы. Немалую роль в этом сыграли пленявшие ее сознание величественные кавказские виды:

«Огромное влияние на мое творчество, – говорила она, – оказало необыкновенное богатство и разнообразие окружавшей меня в детстве природы. Она запомнилась мне отчетливо: позолоченные закатом снежные горы и переходы от них через темные леса, пересекаемые серебряными быстрыми речками, к цветущим долинам. Здесь был разбит так называемый нижний сад, в отличие от верхнего, горного. В саду, на целой десятине, благоухали крупные разноцветные розы.

Это раннее знакомство с кавказской природой навсегда поселило в сердце жадную любовь к солнцу, свету, ко всему разнообразию красок и оказалось чудесным источником позднейшего развития творческих сил и словесного их выражения.

Могучие деревья грецких орехов, которые в урожайный год прокармливали целые татарские семьи,

подробно запомнились тоже навеки. И не только рисунком густой развесистой листвы, под которой можно было укрыться и в ливень, но и особым запахом и горьким вкусом своего зеленого, еще не раздетого ореха...»

Ольга Форш писала об этом и на закате жизни, в 1961 году, всецело признавая Кавказ источником своего творческого вдохновения: «Я запомнила первую мою весну... в Дагестане, в крепости Гуниб, много лет тому назад, когда я была еще девочкой, из окна единственного над пропастью белого дома я увидела утро. Цветущее дерево унаби в драгоценных камнях росы, небо, подернутое позолотой, орла, повисшего над бездонным ущельем... Я и раньше смотрела из этого окна; но тут я вдруг увидела все это. Что-то проникло в сердце, в голову, тронуло какую-то струну, о существовании которой я и не подозревала. Это было началом художественного освоения мира. Я стала рисовать и писать... Первый шаг моего творчества, Гуниб, благодарю тебя, дорогой отец...»

Беззаботное ставропольское детство

В конце 70-х годов XIX века семья перебралась в губернский город Ставрополь. «Мне было лет шесть, – вспоминала Ольга Форш, – когда отец получил дивизию и должен был для командования ею переехать в Ставрополь-Кавказский. Он взял с собою всю семью: меня, моих братьев и бонну. Мы навсегда покинули Дагестан.

В Ставрополе мы поселились в большом каменном доме с часовыми у полосатых будок. Здесь, с базарной площади, виднелась в ясный день вся белоснежная цепь гор. Неподалеку, как хрустальное, неподвижно стояло удивительное озеро: темно-лиловое при каком угодно небе, оно как буд-



то жило своей особой, отдельной от окружающего мира, жизнью среди ярко-желтых, золотых песков.

Озеро было рыбное, и отец, страстный рыбовод, ездил к нему в коляске вместе с детьми на целый день. Рядом с озером высилась горушка, где летали бабочки, такие громадные, что маленькие детские руки не всегда могли их удержать. Бабочки, как птички, дрались сильными лапками, извивались мохнатым тельцем и внезапно вырывались на свободу. У них на крыльях были «глаза» – синие с коричневым, как на павлиньем хвосте, опоясанные кругами – белым и красным.

Позднее, когда я учила наизусть пушкинского «Пророка», то шестикрылый серафим представлялся мне почему-то такой вот громадной бабочкой... Любовь к Кавказу была так сильна, как у зверя к его полям и лесам, до невозможности жить без них...»

В рассказах «Пломбир» и «Первая любовь» Ольга Форш еще не раз с ностальгией вспомнит о своей беззаботной ставропольской жизни, говоря о себе в третьем лице:

«Жила она в городе Северного Кавказа, где цвело много каштанов и белых акаций, которые сладко пахли на высоком бульваре. Гора из арбузов была на базаре, и немцы-колонисты продавали куски ярко-желтого масла, слабо пахнувшего чесноком. Кругом на жирных полях рос в траве дикий чеснок, он очень нравился коровам. Масло из этого молока, намазанное на черный хлеб, превращало его сразу в бутерброд с колбасой.

Девочка жила в военном доме. Перед парадным ходом стояли часовые. У отца пальто было на ярко-красной подкладке. Подбородок в черной бороде был пробрит; так было прилично, так носил бороду царь. Матери не было, была молодая гувернантка,

приходил учитель танцев. Танцевали с губернаторскими детьми, иногда эти дети приезжали на обед. Но больше всех воспитывал девочку денщик, белый Янек. Он сажал Топочку к себе на колени и без всякой хитрости обучал ее, чему считал нужным. Гувернантка охотно ему спихивала девочку и предавалась собственным интересам».

В Ставрополе генеральская дочка предпочитала сверстникам-аристократам общение с простыми слугами. Она признавалась: «от сиротства и внутренней беспризорности дружба детей нашей семьи с денщиками была очень большая. Среди денщиков попадались люди нежной души, скупавшие по своей родной деревне. Они лучше всякой няньки умели позабавить, утешить и даже научить уму-разуму в пределах собственного понимания. Денщик Ян и научил меня и дворовых детей, как чистить ваксой сапоги до зеркального блеска, отличать «собаку-мальчика» от «собаки-девочки». Этими знаниями, думая возвысить в глазах гостей себя и своего учителя, я и хвастнула у нас на званом обеде, перед чопорной семьей губернатора и прочей местной знатью. Меня без промедления посадили в темную комнату, а денщику задан был такой нагоняй, что, встретившись со мною наедине, он с горьким упреком сказал: «Из-за тебя все! Иуда!» Я дозналась, что Иуда был очень позорный человек – предатель...»

Этот случай научил маленькую Ольгу быть более скрытной. Она взяла себе за правило даже в собственном дневнике писать шифром. Вот, как сама Ольга Форш передавала данный эпизод из своего ставропольского детства в рассказе «Пломбир»:

«– От, якась собачка бежит, – говорил ласково Янек, – а ну, будем сейчас узнавать, чи та собачка девочка, чи она мальчик. Вот слухай: у обоих дво-



их е хвосты. У девочки один хвост, а у кобелька – и хвост и тюрочка. Ну, кто там бежит?

Девочка ошибается, денщик огорчен:

– Не можно так. Я ж тебя учу: у девочки тюрочки нема. Ну, остатный раз: кто знов бежит?

Девочка долго со вниманием смотрит на следующую собаку и наконец говорит верно.

Денщик гладит ее по голове, хвалит:

– От-то умница.

Прибегает испуганная гувернантка: губернатор приехал с Зизи.

Девочку от денщика ведут в ванную, моют, плетут две косицы, надевают платье с вышивкой, приводят в столовую.

Белый Янек несет вслед «Всемирную иллюстрацию», чтобы ее положить на сиденье стула. Топочка из своего маленького стульчика выросла, а для большого еще мала.

Обед очень парадный, подает не денщик, а лакей Казимир, вольный, во фраке, в белых перчатках. Будет пломбир.

Сидит губернатор с сестрой и девочкой Зизи. У нее пять ровных локонов, ее гувернантка всегда ставит в пример. И тут же – два сына, они умеют шаркать, как большие, и еще гости...

За столом очень скучно. Говорят большие, и маленьким есть дают не то, что большим, а котлеты. Но пломбир, наверно, положат; вот уже на огромном блюде его вынес из дверей и держит в обеих руках Казимир.

И вдруг противная сестра губернатора говорит:

– Пусть наши девочки нас порадуют. Что выучили хорошего наизусть?

Отец Топочки обращается к девочке с пятью локонами:



– Ты, Зизи, старшая, скажи первая, а Топочка приготовится.

Зизи тотчас, как кукла ворочая глазами, сказала по-французски то, что всякому известно из первой части Марго, про четыре сезона: весну, лето, зиму и осень. Все захлопали, даже Казимир, самый важный из всех, улыбнулся и положил Зизи много пломбира.

Тогда губернаторская сестра указала лорнеткой на Топочку:

– Теперь твоя очередь.

Топочка, желая всего больше обидеть губернаторскую Зизишку, сказала:

– Я не хочу наизусть, что мы учили в Марго, я скажу одну штуку. Эту штуку знаю только я да белый Янек.

– Ну-ну, – заранее любуясь остроумием дочки, заторопил оживленно отец.

– Вот какая штука, – сказала с гордостью Топочка, – у кобелька есть не только хвост, но и тюрочка!

Отец потемнел и слабо махнул Казимиру рукой. Казимир на минуту отставил на боковой столик блюдо с пломбиром и вынес девочку вместе со стулом вон из столовой.

Пломбира не дали вовсе. Белого Янека за что-то отправили на гауптвахту.

Когда он вернулся, сколько Топочка ни плакала, он с ней разговаривать не хотел. И непонятно обидел ее мимоходом:

– Ой, ябеда!»

Последней компанией, в которой участвовал ее отец – теперь ружеставропольский генерал Комаров, – стала Русско-турецкая война. Дмитрий Виссарионович командовал войсками в ходе успешных атак под Зивинем (13-го июня 1877 г.) и при Ихидзире



(18-го января 1878 г.). После этой войны он, серьезно раненный, вернулся в Ставрополь. Тогда-то в их семье и произошел один комический случай, позднее описанный Ольгой Дмитриевной в ее рассказе «Первая любовь»:

«Окончилась Русско-турецкая война. В журнале «Будильник» рисовали Османа-пашу. Бежит Осман-паша через горы, и с его ног падают туфли-шлепанцы.

Пришел другой военный журнал с картинками. В нем среди других генералов был портрет отца, рядом с ним – звездочка. Внизу подробно написано, как он был ранен, долго не слезал с лошади, и, чтобы спасти ему ногу от ампутации, сестра милосердия пожертвовала со своей руки лоскут кожи.

Это было интересно; этим можно было похвастаться на улице.

Топочка побежала на лужайку, где были мальчики и самый главный, уже большой уличный мальчик Иванов. Его все слушались: под его предводительством ходили обчищать фруктовые деревья в большом соседнем саду.

Мальчик Иванов подставил свой жилистый кулак, перехватив Топочку на бегу, когда она неслась к лужайке. Она упала; от боли стало плохо. Мальчик Иванов испугался, стал трясти ее и зверски сказал:

– Если ты сейчас умрешь, я тебя убью!

– Я нарочно не умру, – сказала Топочка и назло Иванову хотела еще раз похвастать сестрой милосердия и отцовской ногой, но ее кликнули обратно домой.

Дома оказался пленный турок Абдулла эль-Рахман.

Это был очень красивый турок в своей турецкой форме. Он немного говорил по-русски. Ласково поцеловал Топочку, сказал:

– Твой папаш – мой папаш.

Гувернантка объяснила, что Абдулла папашей взят был в плен. Приехав в город с другими пленными, он получил приглашение остановиться в доме своего крестного.

Турок был ранен; он ходил на костылях. За ним ухаживали все дамы города, и все они возили Топочке конфеты, и она думала, что все ездят для нее. Но всех добрей с Топочкой был турок Абдулла эль-Рахман. Он целовал Топочку и шептал ей на ухо:

– Душинка Машинка!

Топочка поверила, что турок любит ее больше всего на свете и если зовет Машинка, то потому, что ему очень трудно выучить ее имя по-русски. Абдулла она сама стала любить, как любила белого Янека, и даже гораздо больше его. Очень сильно стала любить.

Турок ходил уже без костылей и, как лошадь, возил Топочку на плечах, сколько ей было угодно.

И вдруг однажды утром Абдулла эль-Рахман исчез. Ни к завтраку, ни к обеду его не было дома. А к ужину собралось очень много дам, и все, вместе с гувернанткой, бранили турка. Они говорили:

– Неблагодарный азиат, свинья, – и еще как-то...

И так же сильно бранили дамы жену одного штабс-капитана, шипя хором:

– И нашел с кем бежать? С Марьей Ивановной!

Топочка сидела тихо в углу; никто ее не искал. Она шептала сама себе:

– Душинка Машинка... и вовсе не я!»

Между тем, юная Ольга поступила в ставропольскую Ольгинскую женскую гимназию, огромное каменное здание которой до сих пор сохранилось в Ставрополе – на проспекте Октябрьской революции, у входа в Центральный парк – бывшую Воронцовскую рошу...



Одинокая московская юность

Через три года по возвращении с Русско-турецкой войны генерал Комаров умер в Ставрополе от полученных в сражениях ран. Старшие сыновья уже были отданы в закрытые военные училища. А Ольгу после смерти отца мачеха отвезла сначала в частный французский пансион Серпинэ в Тифлисе, а через год отправила ее в Москву, где она безвыездно обучалась в Александровском училище для малолетних дворянских сирот (Разумовском пансионе) и в Николаевском сиротском женском институте.

Здесь, по ее собственному признанию, будущая писательница необычайно скучала по оставленному Кавказу:

«Я и моя подруга были обе с Кавказа и очень тосковали по горам. Особенно весной. Мы садились спиной к бледному северному небу, смотревшему из казенных окон, мы впивались в географическую карту, висевшую на стене. На Казбек налепляли мы жеванную резинку – клячку, и Казбек торчал выше всех на свете. И я говорила от всей души: «Кавказ подо мною. Один в вышине...»

Я говорила «Кавказ» Пушкина» с начала до конца не раз и не два, а до тех пор, пока мы с подругой из холодного сиротливого класса не переселялись в «зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени... где мчится Арагва в тенистых берегах».

Из моих глаз слезы восторга лились перед географической картой, и, прижав палец к вершине Казбека, всхлипывала другая кавказская девочка.

– О чем вы плачете? Какие казенные вещи вы испортили? – спросила подошедшая классная дама.

Я еще не успела вспомнить, что надо соврать даме понятное, и сказал правду:



- Мы плачем над стихами Пушкина.
- Ты лжешь, – нахмурилась дама. – Признавайся скорее, какие казенные вещи...
- Честное благородное слово! – сказали мы в голос. – Мы ничего не разбили. Мы только над стихами...
- В таком случае вас надо лечить. Нормальные люди над стихами не плачут.

Нас свели в лазарет, и доктор нам прописал холодное обтирание по утрам, до звонка. Меня, как девочку плохого поведения и зачинщицу, обтирали целый месяц, а другую – всего две недели. Это было холодно и неприятно...»

В сиротском же институте, среди постигшего ее одиночества, Ольга Форш начала и свои первые литературные опыты: «Весной мы с подругой Катей, тоже сиротой, привезенной в институт из Пятигорска, садились перед географической картой, висевшей на стене класса, и налепляли на Кавказский хребет белый мякиш для обозначения снега.

– Помнишь, как пахла белая акация? А дерево унаби? А как верблюды плевались, помнишь? И мы плакали...

За мной и за Катей никто не приезжал, когда мы были в младших классах, в пору самой жгучей тоски по родному краю. Многочисленным петербургским родственникам тоже не было дела до меня. И вот я, как единственно близкому человеку, стала писать письма самому Кавказу: горам, Куре, большому грецкому ореху, денщикам, которые баловали меня, играли со мною и возили на спине, прыгая, как дикие кони. Сейчас я понимаю, что эти письма и были моим первым литературным трудом, чем-то вроде стихов. Читала я их девочкам нараспев, они хвалили.



Эти послания Кавказу давали мне и первый своеобразный гонорар – сахар. За всякого рода услуги мы платили друг другу сахаром... Я хорошо рассказывала, и за ночные распевы о Кавказе мне так и сыпали сахар. Представление начиналось, когда все уже были в постелях, а «ночная дама», дежурившая ночью в дортуаре, еще не начинала своего обхода. Иные из девочек протестовали, хотели спать, но в них так дружно кидали маленькие подушки-думки, что протесты вмиг потухали. Бой протекал в безмолвии, чтобы не привлечь начальство на порог дортуара».

Жизнь в сиротском институте впервые поставила перед Ольгой вечные философские вопросы, на которые не давали ответов ни учителя, ни воспитатели. Хуже всего было то, что при всей внешней благопристойности никто из ее старшего окружения не вникал в волновавшие ее религиозные проблемы, а потому потребности ее пылкой души оставались неудовлетворенными.

Вот, как писала об этом сама Ольга Дмитриевна: «Вообще воспитание в институте проводилось под знаком большой внешней выдержки, «хороших манер» и совершенной бесконтрольности мыслей и чувств. Никому не было дела до нашего внутреннего мира, пока он не прорывался наружу в недозволенной форме. Можно было сколько угодно читать Вольтера и даже Рабле, особенно в дни Великого поста, когда чтение русских книг считалось почему-то грехом. Но беда, если спросишь у батюшки на уроке, как мог кит проглотить Иону, если из естественной истории уже нам известно, что горло у кита крошечное и пищу он цедит сквозь свой китовый ус? Задать такой вопрос – значило получить за поведение низкий балл, приобрести звание «богохульницы» и, самое неприятное, – просить за Иону прощения у самой начальницы».



Издержки бестолковой педагогики юная Ольга компенсировала самообразованием. «Книги в закрытом заведении, – сообщает она, – читаются не так, как на воле, – они поглощают все существо, являются эпохой, новым этапом развития. Помню, поразили мое воображение популярные книжки «Древней философии», особенно стоики, где предлагалось высоко воспитывать характер без перспективы какого-либо наградного царствия небесного или под устрашением ада. Человеку предлагалось быть умным, добрым и справедливым только потому, что он – человек».

Мистические настроения юных лет, взлелеянные среди невыразимых южных красот, в институте переросли в устойчивое увлечение запредельным. Тоска по утраченному Кавказу трансформировалась в мечту о манящих чудесах загадочного Востока.

«Тревожные запросы совести и морали, – писала Ольга Форш, – мучительное недоумение, как и для чего надо жить, не находили ответа у окружающих, часто бездарных и равнодушных педагогов. Религиозное воспитание в силу окаменелости и формализма превратилось в самое настоящее антирелигиозное и не удовлетворяло запросам духовного развития и жажде познания. Настоящим открытием были книги на французском языке про Индию, с проповедью Будды, и все сведения о браманизме. Мы стремились достать книги об йогах и сговаривались уходить вместе в нирвану от зла и страданий жизни. Отсюда у многих в ту пору возник интерес к теософии и оккультизму».

С того времени увлечение сокровенным знанием захватило все ее существо. Еще не почувствовав тяги к прозе, она втайне от всех пишет первые стихи. «У меня в стихах, – говорила она потом, – темы



были только абстрактные, в поэме «Атлантида» орудовали чародеи и черти, все мои тогдашние вкусы и литературные интересы были далеки от реализма».

На перепутье двух эпох

В 1895 году Ольга Дмитриевна вышла замуж за Бориса Форша, который, как и она, происходил из генеральской семьи. Оба они объявляют себя последователями теософского учения Елены Блаватской – всемирной известной оккультистки, автора «Разоблаченной Изиды» и «Тайной Доктрины», чья судьба тоже связана со Ставрополем (здесь похоронен ее отец, полковник Петр Ган, а младший брат Блаватской, Леонид Ган, был ставропольским мировым судьей; живя в Америке, Блаватская смогла издать свою «Разоблаченную Изиду», благодаря отцовскому наследству, полученному из Ставрополя).

Вступив в Теософское Общество, супруги Форш много времени посвящают исследованию древних религий и завораживающих тайн бытия. Пик их увлечения теософией приходится на 1907-1908 годы. Тогда же в зале Малого театра Крамского в Киеве Ольга Дмитриевна выступает с лекциями о Будде и Пифагоре. Это было одно из первых открытых теософских выступлений на русском языке.

Ольга Форш не только в числе первых начала распространять теософские идеи в России, но и успешно увлекла ими виднейших деятелей «серебряного века». Она общалась на эти темы с поэтами Николаем Гумилевым и Максимилианом Волошиным. Чете Форш удалось заинтересовать теософией еще и своего друга, писателя-декадента Михаила Кузьмина, вместе с которым они вошли в редколлегия «Вестника Теософии». Год спустя Ольга Дмитриевна покинула журнал, хотя ее имя значилось в перечне авторов вплоть до осени 1911 года, а Бори-



са Форш – и того больше. Кузьмин оставался верен этому изданию вплоть до его закрытия в 1917 году. В журнале «Вестник Теософии» Ольга Форш опубликовала две сказки собственного сочинения – «Перед вратами» и «Пассифлора», а ее муж – четыре своих стихотворения на религиозные темы.

В Киеве Ольга Дмитриевна посещала философский кружок, где бывали Николай Бердяев, Лев Шестов и Сергей Булгаков. И этими блестящими именами перечень ее звездных знакомств тех лет, конечно же, не исчерпывается. Она была хорошо знакома с Александром Блоком, Андреем Белым, Михаилом Кузьминым, Николаем Гумилевым и Максимилианом Волошиным.

В 1907 году, во время ее первой поездки по Европе, Ольга Форш знакомится и даже становится ученицей знаменитого на весь мир исследователя тайн природы и человеческой психики доктора Папюса. Его парижские уроки из области гипнозизма и волевого преодоления внешних невзгод очень помогут ей в будущем. По воспоминаниям современников, она до конца жизни не боялась физической боли и всегда тайно помогала больным детям путем внушения.

Революция, принесшая впоследствии Ольге Форш большую литературную известность, поначалу обернулась для нее испытаниями, лишениями и невозполнимыми утратами. В 1916 году, заразившись в лазаретах Первой мировой туберкулезом и доведя себя до полного изнеможения практически круглосуточной работой, в Париже умирает Папюс. Уходит в мир иной и Борис Форш, оставив Ольгу Дмитриевну с двумя детьми – Дмитрием и Тамарой, – без гроша за душой, среди полнейшей разрухи.

В первые годы советской власти Ольга Форш жила в нищете вместе с Николаем Гумилевым, Ан-



ной Ахматовой и другими русскими писателями в коммуне, под крышей петроградского «Дома искусств». Быт этого очень своеобразного заведения был впоследствии описан ею в книге «Сумасшедший корабль», которую критики справедливо окрестили «последним романом Серебряного века».

В дореволюционный период ее творчество, помимо уже упомянутых теософских произведений, ограничивалось статьями и рассказами, которые она печатала в журналах «Русская мысль», «Заветы» и «Тропинка» под звучным кавказским псевдонимом «А. Терек». Теперь же надо было чем-то кормить детей, и Ольга Дмитриевна принялась за первую в своей жизни по-настоящему крупную вещь, которая стала еще и первым советским историческим романом. Чтобы книгу напечатали, она должна была рассказывать о революционерах. Так появился роман «Одеты камнем», который с 1925 года выдержал в СССР более двадцати переизданий общим тиражом около миллиона экземпляров!

Книгу высоко оценил Максим Горький, который к тому времени уже состоял с Ольгой Форш в переписке. Вот так, чтобы не умереть с голоду и дать детям все необходимое, Ольга Дмитриевна неожиданно для самой себя сделалась признанным советским писателем, биографом пламенных революционеров, о чем раньше даже не помышляла.

Однако за баснословиями революционного прошлого уже в этой ее первой большой книге проступили контуры и других интересов автора – ее любовь к Петербургу, ставшему теперь Ленинградом, к его истории, легендам, тайнам и великой архитектуре. В первые годы советской власти Ольга Форш много гуляла по северной столице, часами пропадала в музеях, исследовала достопримечательности города

в поисках интересных сюжетов для своих исторических романов. При этом глазу писательницы были доступны удивительные детали, которые едва ли улавливал непросвещенный или поверхностный наблюдатель, и оттого ее книги приобретали поистине невыразимое очарование.

В 1927 году ей разрешили снова выехать за границу. Она гостила у Горького на Капри, посетила Берлин, Париж, Лурд... Вернувшись в Ленинград, Ольга Дмитриевна с удвоенной силой взялась за перо и очень скоро сделалась признанным мастером советского исторического романа. Максим Горький называл ее основоположницей этого жанра. Вслед за «Одеты камнем» вышел роман «Современники» – о художнике Иванове и писателе Гоголе. Потом были «Ворон» – повесть о поэтах-символистах, трилогия «Радищев», другие романы, повести, рассказы, пьесы, киносценарии... Крупнейшее, но далеко не полное собрание ее сочинений, вышедшее в Советском Союзе, насчитывало восемь томов.

Но за всем этим писательница никогда не забывала о Кавказе, который стал первым истоком ее творческого вдохновения. Не было и дня, чтобы она не вспоминала о своей далекой родине. Друг Ольги Форш, литератор Николай Тихонов, рассказывает:

«Я когда-то, по любви к горам, странствовал в долинах Аварии, над которыми, как фантастический утюг, каменный, угрюмый, возвышается Гуниб. Там, на Верхнем Гунибе, еще белеют омытые столетними дождями развалины последнего аула Шамиля и растут березы в роще, где окончилось его многолетнее сопротивление.

В середине Гуниба стоит большой белый дом со стенами почти двухметровой толщины. Из окон



дома раскрывается безмерная пропасть, в глубине которой шумит река.

Я знал, что в этом доме родилась будущая писательница, и мне легко было и странно вместе с тем воображать, как маленькая девочка смотрит большими удивленными глазами на необъятный мир гор, на орлов, проносящихся ниже ее по ущелью, слышит шорох их серо-стальных крыльев и видит исчерченные темными выходами пород отвесы Кегерского хребта. Мне кажется, что эта природная ширь, эта суровость окружающего и какая-то внутренняя свобода остались в ней от этих неповторимых ощущений детства: запахи горных трав, краски скал, весь простор мира...

Когда я писал вступительную статью к четырехтомнику Ольги Форш, я перенес туда это гунибское впечатление и получил письмо от 10 февраля 1955 года, где Ольга Дмитриевна, говоря об этой статье, пишет: «И как это удалось Вам сказать самое главное, указать истинный источник, откуда вытекла вся моя работа?! Ну конечно, это Гуниб. Его незабвенная, навсегда восхитившая перспектива, его уходящие вдаль, в небо горы... Именно это определило подсознательный характер и ритм речи, когда пришла зрелость мысли. Но как угадали Вы то, что знаю только я сама...»

17-го июля 1961 года Ольги Форш не стало. Она оставила после себя богатое творческое наследие, значительная часть которого до сих пор не опубликована, таится в архивах и все еще ждет своего исследователя. На пасмурные берега Невы писательница принесла свет солнечного кавказского слова, озарившего сияющим метеором небосклон советского исторического романа.

Сведения об авторах

Аксенов Иван Михайлович. Родился в 1935 году в селе Привольном на Ставрополье. Окончил Ставропольский пединститут и многие годы занимался педагогической деятельностью. Автор многих книг прозы и поэзии, эссеист. Член Союза писателей России. Лауреат премии губернатора Ставропольского края им. Губина. Живет в Новопавловске.

Дмитриченко Валентина Гапуровна. Родилась в с. Лузинка Северо-Казахстанской области. Окончила культпросветучилище. Сменила несколько профессий. Автор многих поэтических сборников, пользующихся неизменным интересом у читателей и коллег. Член Союза писателей России. Живет в Невинномысске.

Крис (Харченко) Оксана Владимировна. Родилась в поселке Ленино Крымской области УССР. Окончила Северо-Кавказский технический университет. Публиковалась в периодических изданиях и коллективных сборниках. Занимается юридической деятельностью. Живет в Ставрополе.

Кудинов Владимир Васильевич. (1938 – 1990) Известный ставропольский поэт. Родился в г. Котельниково Волгоградской области. Работал в разных газетах, в том числе в «Ставропольской правде», в книжном издательстве. Автор книг: «Зал ожидания», «Перекрестки», «Позвольте мне предсказывать погоду». В текущем году в Ставрополе издан томик его избранных произведений. Некоторые произведения поэта положены на музыку. Лауреат журналистской премии им. Г. Лопатина.



Кругов Алексей Иванович. Родился в 1959 году в Перми. Окончил Ставропольский педагогический институт и Институт российской истории ВАН. Кандидат исторических наук. Автор монографий, учебников и учебных пособий, публикаций по вопросам аграрной истории и краеведению. Живет в Ставрополе.

Маркелов Николай Васильевич. Родился в 1947 году. Окончил филологический факультет МГУ. Автор многих книг и публикаций, посвященных истории Кавказа и связанных с ним выдающихся соотечественников. Член Союза писателей России. Лауреат престижных литературных премий. Член Союза писателей России. Награжден Золотой медалью Международного фонда имени Лермонтова. Живет в Пятигорске.

Нечитайлов Максим Владимирович. Родился в 1979 г. в Невинномысске. Окончил Ставропольский государственный университет. Исследователь военной истории Северного Кавказа. Кандидат исторических наук. Автор книг и многочисленных научных публикаций. Живет в Ставрополе.

Нутрихин Роман Владимирович. Родился в 1982 году на Ставрополье. Окончил Ставропольский госуниверситет. Кандидат юридических наук. Автор прозаических произведений и многих исследовательских работ по истории Кавказа и Ставрополья. Публиковался в коллективных сборниках и центральной периодике. Живет в Ставрополе.

Полумискова Екатерина Петровна. Родилась в Ставрополе. Окончила Ставропольскую государ-

ственную сельхозакадемию. Поэт. Прозаик. Лауреат литературных премий. Председатель краевого отделения Литфонда России. Автор поэтических книг и публикаций в периодике. Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе.

Скрипаль Сергей Владимирович. Родился в 1960 году в г. Темиртау Казахской ССР. Окончил Ставропольский педагогический институт. Учительствовал. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, отмечен правительственными наградами. В течение последних лет работает в газете «Ставропольская правда». Член Союза журналистов России. Живет в Ставрополе

Смайлиев Сергей Олегович. Родился в 1961 году в Кисловодске. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Публиковался в периодических изданиях. Автор книг: «Кривые ноги подсолнуха», «Знак Стрельца», « Между землей и небом». Член Союза российских писателей. Живет в Кисловодске.

Сургучев Илья Дмитриевич. (1881 – 1956). Выдающийся русский писатель, драматург, публицист. Родился в ставропольской купеческой семье. Первый рассказ опубликовал в 1906 году в «Журнале для всех». Большой успех и известность в стране принесли роман «Губернатор» и пьеса «Осенние скрипки», поставившие его в один ряд с классиками отечественной словесности. Нынешняя публикация повести «Посвящение» – это первое знакомство российских читателей с замечательным произведением нашего земляка на страницах альманаха.



Фокин Александр Алексеевич. Родился в 1966 году в поселке Медногорском на Ставрополье. По окончании пединститута работал учителем. Доктор филологических наук. Профессор СКФУ. Автор книг «Творчество Иосифа Бродского в контексте русской поэтической традиции», «Илья Дмитриевич Сургучев. Проблемы творчества» и многочисленных публикаций по различным вопросам филологии. Живет в Ставрополе.

Чернов Вадим (Владислав) Сергеевич. (1934 – 2011). Известный ставропольский прозаик и журналист. Родился в Армавире. Окончил Ставропольский пединститут, Высшие литературные курсы СП СССР. Автор многочисленных книг, созданных в художественном и документальном жанре. Дважды лауреат журналистской премии им. Лопатина.